

Марр М.

ПРИСЦИЛЛА ИЗ
АЛЕКСАНДРИИ

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Женские лики – символы веков

Морис Магр

Присцилла из Александрии

«Алгоритм»

1925

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Магр М.

Присцилла из Александрии / М. Магр — «Алгоритм»,
1925 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03093-2

Морис Магр (1877–1941) – французский поэт, романист, драматург, эссеист; сын адвоката и известной журналистки, странная жизнь которого больше похожа на некий эзотерический эксперимент. В 1890 г. оказавшись в Париже, Магр сразу окунулся в атмосферу декаданса, секса и опиума. Намереваясь стать литератором, он ведет богемную жизнь, общается с анархистами, курит опиум, в котором видит врата к иной, метафизической реальности. Уже первой своей книгой стихов «Песнь людей» (1898) Магр снискал громкий успех. До 1913 г. вышли еще три книги его стихов – прозу Магр стал писать много позже. Но именно в романах проявился его неподражаемый стиль – причудливое смешение истории, тайного знания, поэзии, оккультизма, легенд, черной магии, галлюцинаций и иронии. Роман «Присцилла из Александрии», публикуемый в этом томе, воссоздает своеобразную атмосферу общей картины жизни Александрии V в. н. э. А главные персонажи произведения являются носителями специфического круга религиозных идей и представлений эпохи заходящего эллинизма. Такова и Присцилла, через христианское презрение плоти и земного мира пришедшая к их радостному утверждению.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03093-2

© Магp M., 1925
© Алгоритм, 1925

Содержание

Глава I	6
Глава II	13
Глава III	18
Глава IV	28
Глава V	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Морис Магр

Присцилла из Александрии

Глава I

Присцилла, это ты, Присцилла...

Все улицы, спускающиеся к старой гавани Киботос, были полны сильным шумом. То был глухой топот, крики разъяренной толпы.

Присцилла, игравшая со своим братом Марком, остановилась; она подумала, что море, разбиваясь в бурные ночи об утесы острова Фарос, производило меньше шума.

Вдруг она увидала, как захлопнулись две громадные половины массивных кедровых ворот дворца, которые слуги поспешно запирали.

– Демоны! Демоны пришли! – крикнул кто-то.

Тотчас же со стороны внутреннего двора раздался отчаянный вой, который затем превратился в размеренную и ужасную жалобу; казалось, что эта жалоба исходит из пасти животного, а не из человеческого горла.

Присцилла высунулась из окна и заметила рабыню, по имени Маммоа, ползавшую на четвереньках по мозаичным плитам с животным выражением лица. Это была фригиянка, прославившаяся аскетизмом и христианской строгостью своей жизни. О ней ходила молва, что она узрела однажды Деву Марию; но достаточно было ей услышать слово «демон», как с ней приключались странные припадки, во время которых ее голос терял всякое человеческое подобие, точно и в самом деле в нее вселялся демон.

Марк разразился идиотским смехом и прижался к сестре, касаясь ее руки и плеча, как он это делал всегда. На этот раз Присцилла не оттолкнула его. На лестнице раздались шаги.

– Выбросите пики в окно, – приказал чей-то голос.

Дверь открылась, и Присцилла увидела на пороге своего деда. Он притворялся спокойным, и насмешливая улыбка застыла на его губах. Он поднял правую руку и помахал ею как бы для того, чтобы ободрить своего дрожащего сына и нескольких слуг, которые ожидали его приказаний в вестибюле и на ступенях мраморной лестницы. У него был вид человека, желающего сказать: «Видали мы и не таких!»

Старому Диодору во время царствования императора Юлиана было двадцать лет; он любил повторять, что видал и не таких, и это было правдой. Языческая чернь его не устрашала. В Гамафе, в Сирии, он разогнал ударами палки процессию обнаженных жриц, которые пытались под звуки тамбуринов захватить церковь Эпифании, чтобы водрузить там статую Бахуса. Он едва не был побит камнями приспешниками епископа Георгия Каппадокийского. В царствование Феодосия он содействовал разрушению храма Сераписа. Не испугали его и крики ненависти проституток из Ракотиса и воров из квартала бальзамировщиков. Совершенно напрасно было доставать оружие и запираť ворота. Наоборот, следовало открыть их настежь... Он появится на пороге, и толпа разбежится под его взглядом...

Диодор-сын схватил его за руку и стиснул ее. Унаследовав от своего отца благочестие, он не имел ни его силы, ни его мужества.

– Боже мой! Боже мой! Нужно быть осторожным ради моих детей...

Старый Диодор пожал плечами.

– Спрячь их в погреб, если ты боишься.

И он спустился с лестницы и перешел двор, направляясь к воротам. С улицы доносились крики, мрачные, как призыв дикого зверя в пустыне, и слышно было, как град палочных уда-

ров обрушился на деревянные ворота. Привратник спрятался где-то во дворце, унеся с собой тяжелый ключ. Его искали, звали. Это продолжалось несколько минут.

Диодор-сын щелкал зубами. Внезапно он принял решение. Он обернулся к Тутмосу и Тегенне, рабу и рабыне, верность которых была испытана и на попечении которых обычно находились его дети.

– Выведите их через маленькую садовую калитку. Бегите к епископу. Оставьте у него детей. Вы возвратитесь, когда преторианская стража усмирит бунтовщиков. Это дело одного часа. Но можно ли знать, что случится?

Страх овладел Марком, и он стал кричать. Невозможно было его остановить. Тутмос завернул его в шерстяной плащ, и они все вышли в сад.

Это был час, когда сумерки переходят в ночь. Меж мозаичных позолоченных плит бассейна струя воды была выше, чем обычно, и благоухание апельсиновых деревьев казалось гуще, чем всегда.

Присцилла охотно села бы на песок, вдыхая вечерний воздух, вместо того, чтобы быть вынужденной бежать от злости людской.

Садовая калитка выходила в переулок квартала Эпсидов. Улица была пустынна. Оба раба принялись бежать, неся в руках по ребенку. Повернув вправо, они могли через несколько минут достичь большого Серапеума. Но они натолкнулись на толпу, идущую с западной части города, и боялись быть опознанными как слуги Диодора.

Они сделали большой крюк. Поминутно им пересекали дорогу разъяренные толпы. Александрия разгоралась закатным пламенем ненависти богов.

Присцилла, как во сне, смотрела на проходившие перед ней длинные продольные улицы, из которых некоторые брали свое начало от лазурной синевы моря и заканчивались у Марео-тийского озера пепельно-стального цвета. Памятников было бесчисленное множество. Они нагромождались друг над другом, подобно каменным плодам в порфировой корзине. Множество разрушенных храмов было превращено в церкви, но попадались и храмы, пощаженные ради их красоты, потому что они придавали блеск городу. Стоя на перекрестках, напротив христианских часовен, они опирались на пилоны и казались неумолимыми врагами, грозясь своими монументальными дверьми.

На террасах зажигались огни. Присцилла видела по дороге винтообразные лестницы, белые ступеньки которых нисходили к Панеумскому холму, аллеи сфинксов и сикомор, открывающие в своей перспективе таинственный купол подземного храма, длинные колоннады в греческом стиле, перемежающиеся с памятниками эпохи Птолемеев, подобно процессии юных элевзинских жрецов, замерших в созерцании прошлого. Развалины храма Изиды были мрачны и ужасны: четырехугольные столбы с капителями в форме куба, где еще сохранились изображения Гаторы, богини с головой коровы, напоминали отрезанные части тела. Развалины храма Посейдона казались легкими и белыми; лавр, выросший в расщелинах плит, целиком покрыл разбитые алтари, и голуби, обосновавшиеся в листве, с шумом хлопали крыльями. Цветники из роз расстилались перед частными зданиями, и пучки мимозы свешивались со стен и почти загромождали дорогу. На пьедестале статуи Озириса, опрокинутой однажды во время волнений, но не убранный из-за ее тяжести, возвышалось изображение Святой Девы. На треугольной площади, где находилась церковь Святого Петра, восставал целый лес обелисков, и старый дом философа Олимпиоса простерся в скульптурном изобилии, где были перемешаны стили египетские и эллинские, где были нарисованы тысячи символов, эмблематические образы, ныне лишенные смысла и покрытые кое-где большими белыми крестами.

Иногда во время пути факел освещал разъяренные лица. Присцилла начала дрожать при переходе под тетрапилоном Веспасиана, потому что его четыре громадных столба заслонили умирающие отблески света. Они свернули на улицу Сема.

Навстречу им бежал человек, который был закутан в желтую шаль на сирийский манер; с идиотским торжеством в голосе он спросил их:

– Правда ли, что громят дворец Диодора?

Спустившись по улице Сема, они прошли мимо четырех львов из порфира, стоящих у маленького храма Сераписа, и мимо двенадцати крылатых коней из бронзы возле Музея. Они слышали неясный гул и увидели широкую лестницу в сто ступеней, которая вела в Серапеум; она была заполнена угрожающей толпой.

Дом епископа Кирилла стоял на возвышении; он был окружен тремястами сиенитовыми колоннами, сооруженными Птолемеем Сотером. Это здание возвышалось над всем городом. Оно было построено так же, как и церковь Святого Аркадия, из священных камней храма бога Сераписа, разрушенного за несколько лет до этого патриархом Теофилом. Тутмос остановился, подумав, что не вполне безопасно передать детей в руки епископа Кирилла. Он растерянно обернулся к Тегенне.

– Повернем к Некропольским воротам, – сказала рабыня. – Пойдем к моей сестре. Нигде дети не будут в большей безопасности, чем у нее.

Тутмос колебался. Он никогда не видел своей свояченицы. Он знал, что она занимается проституцией в Ракотийском квартале. Она была замужем за странным человеком, про которого говорили, что он не верит ни во что и занимается бальзамированием – запрещенной профессией.

– Что скажет господин, когда узнает об этом?

Но Марк, который тем временем стал на ноги, внезапно бросился бежать, испуская крики. Нужно было его поймать.

– Иисус! Иисус! Помоги нам! – причитала Тегенна.

– Так и быть, пойдем к твоей сестре, – сказал Тутмос.

Они сделали крюк, обошли Ракотийский квартал, достигли Некропольских ворот и очутились в предместье того же названия.

Это была сеть улочек, где жили в прежние времена люди, занимающиеся ремеслом бальзамирования и вообще всем тем, что относилось к похоронным церемониям. Но при Феодосии был издан указ, запрещающий бальзамировать мертвых, а также их сжигать. Разрешалось только хоронить их попросту в земле. Некропольский квартал местами был пустынен, он сделался убежищем для бродячих торговцев, проституток и воров. Но там еще проживало несколько бальзамировщиков, и люди, не отрекшиеся от старинных египетских обрядов, приносили к ним трупы своих родственников, чтобы вернуться за ними, когда они будут превращены в мумии. Этой самой профессией занимался свояк Тутмоса.

Чтобы дойти до его жилища, нужно было сперва перейти узкий мост через канал, который соединял Мареотийское озеро с гаванью Киботос. Из стоячей воды исходил тошнотворный запах, полный миазмов. Оба раба на ходу перекрестились. Возле этого моста несколько лет назад, центурион Септимус, которому поручено было надзирать за Некропольским кварталом, приказал солдатам выбросить в воду несколько мумий, обнаруженных у одного бальзамировщика; молва говорила, что гневные покойники продолжают плавать в гниющих водах.

За мостом тянулась длинная и узкая улица, на которой находилось несколько лавок. Эта улица была спокойна, ее жители, казалось, не ведали о волнениях Александрии. Женщины сидели у дверей, нищий рылся в отбросах на перекрестке.

Дети шли рядом с рабами, но, когда улица сделала поворот и Тутмос вступил в маленький, еще более узкий переулок с крутым спуском, пришлось взять их на руки, потому что повсюду нагромождены были обломки, почва становилась вязкой и тощие псы пугали детей, подбегая обнюхивать их.

Тутмос толкнул деревянный барьер. Они прошли обширный участок земли, окруженный потрескавшимися стенами, и очутились перед узкой дверью с решетчатым окошечком, через которое пробивался смутный свет.

Прежде чем Тутмос успел постучать, дверь приоткрылась и они увидели на пороге человека, который ни во что не верил...

Присцилла была счастлива сознанием, что они вне опасности, что скоро придут вести и ее, без сомнения, возвратят отцу.

Тегенна уложила ее рядом с Марком на широком шерстяном плаще. Спать! Она решительно не могла уснуть. При входе в эту низкую комнату, где висел тяжелый запах мирры и черной смородины, ее охватило странное ощущение.

– Присцилла, Присцилла! Это ты, Присцилла! – шептало ей на ухо невидимое дыхание, безжизненный голос.

Нет, ни этот высокий мужчина с треугольной бородой, с нависшими бровями, такими густыми, что нельзя было разглядеть глаз, ни женщина с испитым лицом, сидящая, съежившись на земле, не могли прошептать ее имя так близко от нее. Ароматный воздух был полон присутствия человеческих существ; таинственная деятельность, которая была неощутима для чувств, наполняла атмосферу комнаты. Кто произнес имя Присциллы? Или, скорее, какая мечта заставила ее поверить, что ее называли по имени?

Комната, которая освещалась только чадающей масляной лампочкой, была загромождена всевозможными вещами. По углам были навалены груды кривых щипцов, коротких ножей, металлических трубочек, пилок, как будто хозяин жилища был мастером заплечного цеха. Туго набитые мешочки были набросаны беспорядочной кучей: от одного из них, который был полукруглым, исходил острый пряный запах. Деревянная полка была уставлена длинным рядом сосудов с синей, зеленой и желтой жидкостью. А за ними висела целая серия маленьких разноцветных масок из полотна и позолоченной бумаги; почти все они были без глаз. В глубине стояли, вытянувшись в длинную вереницу, ониксовые и алебастровые вазы, на выпуклостях которых были изображены в иероглифах молитвы Изиде, Нефтису, Нейте и Селку; крышки их были украшены головой ястреба или павиана. Эти вазы стояли вокруг низенькой двери, необыкновенно таинственной, за которой, чувствовалось, находилась самая главная комната всего дома.

Себек, бальзамировщик, безмолвно слушал, что говорили Тутмос и обе женщины. Он был молчалив и никогда не молился никакому богу. Он принадлежал, подобно своим предкам, к низшей священнической касте Парашитов. Но эта каста находилась в периоде упадка. Какое-то проклятие тяготело над бальзамировщиками. Себек не пользовался уважением в своем квартале, прежде всего, из-за своей профессии, а во-вторых, потому, что, как всем было известно, жена его занималась проституцией в Ракотисе, и он был безразличен к этому не то по слабости, не то благодаря постоянному общению с мертвецами, которое сообщило его духу мрачное равнодушие к тленным вещам сей жизни.

– Это должно было случиться, – сказала Хепра, жена бальзамировщика, качая головой, отчего забренчали ее серьги и фальшивое ожерелье. – Боги Египта воскреснут вновь. Не позор ли, что приходится тайком приносить мертвецов к бальзамировщику и, крадучись, их бальзамировать. Христиане считают для себя честью гнить в земле. Ну и пускай гниют там!

Тутмос сделал ей знак молчать из-за детей. Но она топнула ногой о землю, повторяя:

– Они там сгниют!

Тем временем она не отводила восторженных глаз от лица Присциллы. Она даже встала, чтобы разглядеть ее ближе.

– Не правда ли, она прекрасна? – с гордостью сказала Тегенна.

– И они способны сделать из нее девственницу, которая заплесневает в монастыре! – подхватила Хепра, наклоняясь.

Присцилла увидела над собой огромные глаза, синевато-зеленые, влажные, обведенные большими синими кругами, чувственный рот, лицо, на котором наслаждение оставило свои следы, и жирную шею, почти молочного цвета. Она увидела, что женщина снимает со своих плеч арабскую шаль с большими зелеными полосами и укрывает ее, конечно, чтобы ей не было холодно; вслед за этим она забылась сном, убаюканная теплотой.

И ей снилось, что откуда-то из-за угла, полного мрака, вылетело какое-то насекомое и со звонким жужжанием закружилось над ней. Оно оставляло за собой след, подобно золотой струйке, оно обволакивало ее. Она не могла различить контур его крыльев, но чувствовала, что это было опасное насекомое, странной формы, с черной головой и жалом, вероятно страшным. Она испугалась, хотела его отогнать, но какое-то сладостное бессилие не давало ей двигаться. Насекомое коснулось ее кожи и вдруг с налета опустилось между грудей девочки. Оно было холодным и тяжелым, и все маленькое тело Присциллы напряглось, охваченное блаженством.

Она проснулась и подавила стон. На ее шее, на золотой цепочке, висел маленький черный камушек, форма которого, когда она его ощупала, показалась ей непонятной.

Она знала, что существуют талисманы, которых следует остерегаться, они обладают свойством передавать грехи, которыми страдают некоторые нечистые создания. Тотчас же она сняла его и далеко отбросила, вопрошая себя, не было ли прикосновение этого камня причиной странного ощущения обволакивания и того смятения, которое ее охватило.

Она оглянулась вокруг. Тегенна и Хепра уснули, лежа рядом. Мужчины же, должно быть, пошли узнать, что происходит в Александрии.

Она приподнялась, распахнула одеяло и шаль, которыми была укрыта, стараясь не разбудить своего брата, и тихонько сделала несколько шагов по комнате. Слишком сильные ароматы и необыкновенные предметы, которые ее окружали, будили в ней любопытство.

Она подошла к двери, находящейся в глубине, и заметила, что эта дверь не была заперта; за ней была другая комната, большая и пустая, насколько она могла разглядеть ее при трепетном мерцании лампочки.

Дверь поддалась, не скрипнув, и Присцилла, повинуясь своему любопытству, переступила порог.

– Присцилла! Присцилла! Это ты, Присцилла!

Она вновь услышала у самого уха этот шепчущий призыв, столь близкий и в то же время как будто идущий откуда-то издалека! Выражение, с которым произносилось ее имя, было жалобным, и она уже слышала его, но где и когда? Ее память не могла этого восстановить.

Справа от нее стояли в ряд каменные саркофаги, которые казались полны синеватой жидкостью; свет от звезды, струившийся через окошечко в потолке, моментами бросал на них сапфировое сверкание. Против нее стоял ровный ряд продолговатых ящиков, инкрустированных разноцветными камнями. И Присцилла, сделав несколько шагов по комнате, догадалась, что находится среди мертвецов.

Они все проходили различные стадии своих мытарств. Лежащие справа покоились в натровой воде, натертые горной смолой, набитые миррой, корицей и ароматами. Они должны были прождать там сорок дней, прежде чем их пропитают золотом, обернут в повязки, наденут на лицо маску с глазами из эмали, и тогда они займут предназначенное им в вечности место в гробу, покрытом иероглифами, среди символических изображений всех богов, чтобы пренебречь в своей неподвижности быстрым бегом времени.

Присцилла не чувствовала страха. Голос, позвавший ее, имел в себе много грусти и доброты. Она наклонилась над одной из мумий, ибо в детском возрасте сохраняется известная доля ясновидения. У подножия гроба она прочла имя: «Феодула».

Это было имя одной старой, набожной женщины, которая была подругой ее матери и всегда питала к Присцилле большую привязанность. Она жила в маленьком домике, над которым был водружен крест; вокруг разрастался сад, полный смородины, и это было недалеко от

моря, в районе Бруциума, прилегающего к македонскому Акрополю. Туда, в сопровождении Тегенны, Присцилла приходила к ней почти каждое воскресенье. Старая почтенная женщина ожидала девочку во внутреннем дворике, и, когда в привычный час в коридоре раздавались шаги, она вставала и неизменно говорила:

– Присцилла! Присцилла! Это ты, Присцилла?!

Она была сильно привязана к жизни на склоне своих дней, хотя, по-видимому, имела мало радостей. Она призвала жреца Озириса, чтобы узнать, в какой мере обряд бальзамирования позволяет существовать после смерти и еще дает познавать физические радости. Присцилла вспомнила, как ее дед Диодор негодовал по поводу возврата этих странных суеверий и даже утверждал, что она будет проклята за это, несмотря на благочестивую жизнь.

Присцилла с минуту глядела на черную, съежившуюся, неузнаваемую фигуру, которая являла собой старую Феодулу. В ней не было ничего страшного. Она, скорее, вызывала жалость. Присцилла вспомнила светлый сад, где она гуляла между грядок ириса и гвоздики и где хозяйка протягивала ей кисти смородины руками, удивительно нежными и белыми. Она очень бы хотела, в свою очередь, угостить ее плодами. Но нет, никогда больше она не сможет сделать этого! Старая Феодула теперь пристально смотрела на нее из-под своей золотой маски эмалевыми глазами, обведенными бронзой, обе руки ее были скрещены на груди и заключены в фарфоровый футляр, а маленький терракотовый жук покоился на том самом месте, где раньше билось ее сердце.

Но душа ее, была ли она в раю Иисуса или начала свои странствия по другим безграничным полям?..

Лицо Тутмоса было серьезно, когда он возвратился в сопровождении бальзамировщика.

– Христос покровительствовал нам, приведя нас сюда. Это он спас этих детей!

Марк заворчал, жалуясь, что его разбудили, и зарылся с головой в одеяло.

Присцилла поняла по словам, которыми обменялись присутствующие, что можно было безбоязненно возвратиться в Александрию, но, похоже, случилось нечто такое, о чем ей не осмеливались сказать. Она наступила на какой-то твердый предмет и, наклонившись, узнала камень, который она давеча нашла на своей груди и отбросила от себя. Это был символ Приапа, очень древний, стершийся от времени.

– Маленькая принцесса не захотела оставить у себя бога Хема, – мягко сказала Хепра, снова устремив на Присциллу свои большие синевато-зеленые глаза. – Но это ничего не значит, богу достаточно одной секунды во время сна.

Тогда Присцилла вспомнила ощущение ожога между грудями, дрожь, которая по ней пробежала, и почувствовала отвратительное ощущение во всем своем теле.

Обратный путь показался ей бесконечно долгим. На каждом перекрестке попадались легионеры, и улица, на которой находился дворец Диодора, была полна солдат.

На дворе неподвижно стояли рабы с факелами в руках, с искусственным выражением печали на лицах, что требовалось ритуалом во время похоронных церемоний.

Присцилле поразило, что две из четырех мраморных ваз, стоявших по углам двора, были разбиты вдребезги, и осколки их были разбросаны. Один раб, стоя на коленях, мыл водой мозаичные плиты двора. Красное пятно выделялось на одной из колонн.

Присцилла не имела времени удивляться. Когда Тутмос опустил на землю ее полусонного брата, на пороге дворца показался епископ Кирилл, поддерживая за плечи ее отца Диодора, который сопровождал его, согнувшись вдвое, полускрыв глаза, искривив дугой тонкие, синие и дрожащие губы.

– Мужайся, – непрестанно повторял епископ, – мужайся же!

Он остановился, когда заметил детей.

– Ваш дед был святой, – сказал он, возвышая голос с притворной торжественностью, словно он в такой же мере говорил для рабов, для солдат и для потомства, как для Присциллы

и Марка, к которым обращался. – Господь пожелал призвать его к себе. Он даровал ему славу умереть мученической смертью за свою веру. Помните о нем, и пусть это будет для вас примером, и да будете вы всю вашу жизнь, как и он, подвижниками Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Присцилла была сначала поражена искусственной торжественностью этих слов. Она любила своего деда и потому почувствовала живое угрызение, что не испытала сразу же острой боли. Ее единственной мыслью было удержать брата Марка, немного слабоумного, от того, чтобы он не начал смеяться глупым смехом или произносить бессвязные слова в присутствии епископа и всех, кто смотрел на них с любопытством. Она обвила его шею и порывисто поцеловала. Он отбивался, но ей удалось удержать его возле себя, пока ее отец, со слезами сжимая руку епископа, провожал его до улицы; затем их ввели в дом.

В эту ночь Присцилла уснула под заунывное пение приглушенных молитв и только на следующий день узнала, что произошло.

Накануне старый Диодор, наблюдая за постройкой церкви на принадлежащем ему участке земли, заметил играющих детей, у некоторых из которых были длинные локоны. Он в этом усмотрел признаки язычества, нечто вроде вызова простоте христианского устава. Он приказал своим рабам схватить их и коротко остричь на своих глазах. Это вызвало негодование в языческих семьях, из которых были дети. Новость распространялась из квартала в квартал. Сперва разрушили храмы, а теперь устраивают нападения на детей! Собачий парикмахер возбуждал толпу, потрясая громадными ножницами и крича, что следовало бы тем же отплатить Диодору. Эта мысль понравилась. Подонки из порта, следуя за собачьим парикмахером, столпились плотной массой вокруг дворца Диодора.

На несчастье, вспыльчивый старик, уверенный в обаянии своей личности, приказал настежь открыть ворота дворца. На него набросились и сбили с ног. Собачий парикмахер слишком далеко зашел, и ему необходимо было что-нибудь совершить. Но так как Диодор был абсолютно лыс, то, желая все-таки показать толпе трофей, он попытался содрать с его черепа кожу острием своих ножниц.

Диодор был мертв. Солдаты явились как раз вовремя, чтобы помешать язычникам разгромить дворец.

Похороны отличались необычайной пышностью. На них были представлены все монастыри Египта. Известие о новом мученике проникло даже в пустыни, где спасались отшельники, из коих некоторые, заросшие густыми волосами и закутанные в звериные шкуры, отправились в путь, чтобы присутствовать на похоронах благочестивого Диодора.

После того, как все уже было закончено, в продолжение нескольких дней паломники появлялись у городских ворот, покрытые грязью и пылью.

Присцилла молилась с таким пылом, что у нее болели колени, которые слишком долго находились в согнутом положении, и она с трудом держалась на ногах. Чудовищная смерть деда внушала ей ужас ко всему, что не было христианским.

Она часто глядела на то место между своими грудями, где лежал камушек с символом Приапа, чтобы убедиться, не остался ли от него неизгладимый след ожога.

Глава II

Монастырь Жажды

Монастырь сирийки Зенобии возвышался среди песков на каменистом холме в глубине пустыни, за последним человеческим селением, за последней хижинкой отшельника. Он находился в стороне от караванных путей. Чтобы его достичь, нужно было идти вдоль Мареотийского озера, по той же дороге, по которой следовал Александр несколькими веками раньше, когда он направлялся к храму Аммона, потом повернуть налево по песчаной, едва заметной тропинке и углубиться в место, где громоздились скалы.

Издали монастырь имел вид крепости. Но вблизи он представлял собой лишь круглую белую стену, огораживающую небольшое пространство, посреди которого находилась часовня без колокольни. На это пространство выходило с полсотни келий, в которые свет проникал лишь через узкое отверстие в форме креста, сделанное в двери. Позади часовни находились амбары, где хранили рожь, ячмень, масло и где помещалось стойло для верблюдов.

Этот монастырь назывался монастырем Жажды, потому что там не было колодцев, а наиболее близкие находились в двух днях пути. Каждую неделю несколько монахинь отправлялись на верблюдах сделать запас воды, которой должно было хватить общине на семь дней. Они отправлялись в путь на заре, ибо только при особом усердии можно было возвратиться лишь через два дня к вечеру. Некоторые из них были растерзаны львами. Другие погибли во время смерча. Были и такие, что заблудились на обратном пути несмотря на то, что сама сирийка Зенобия звонила тогда в продолжение всей ночи в колокол, но они углубились в пустыню, чтобы никогда не возвратиться вновь. Но что за важность! Зенобия была святая с суровым сердцем. Она с легкостью вручала в руки Господа жизнь своих овец, так же как и свою собственную, и когда колодцы высыхали и монастырь страдал от жажды несколько дней, она утверждала, что самая чистая молитва исходит из уст пересохших, когда губы трескаются из-за недостатка воды.

Ежегодно Присцилла и ее брат под надзором дворецкого Лонгиниана отправлялись в монастырь Жажды. Это далекое путешествие было большой радостью для детей. Радость началась уже за несколько дней до отъезда, когда на двор вытаскивались палатки и рабы осматривали, все ли необходимое для путешествия в порядке.

Она продолжалась, когда готовили мешки с провиантом и большие мехи с вином. Чудесной минутой в жизни детей была та, когда отец целовал их, прежде чем они вскарабкивались на самого сильного из верблюдов каравана. Но что им доставляло особенное удовольствие, так это общество нескольких солдат, которых епископ Кирилл предоставлял в распоряжение Диодора, чтобы охранять детей в пустыне. Дети восхищались их оружием, выправкой и шуточками.

Проезжали по плодородным равнинам, изрезанным каналами, где росла пшеница и где дома казались золотыми пятнами. Видели поля, кишацие обнаженными, бронзовыми мужчинами, которые собирали огурцы и сеяли хлопок. Иногда за пальмовой рощей вставало селение, состоящее из землянок, крытых соломой и тростником, и нескольких каменных домишек, которые своими плоскими крышами напоминали шестигранники с прорезями для окон и дверей. На этих шестигранниках возвышался иногда другой шестигранник, поменьше, а на нем – третий. Они были выкрашены в различные цвета ярких тонов, которые пылали на солнце, и Присцилла указывала на них своему брату, громко выражая свое восхищение.

Первый привал был наименее приятным, потому что останавливались у одного из чиновников Диодора, владеющего там большими плантациями хлопка. Это был человек строгий и скучный; он жил в большом дворце, разрушенном в эпоху Птолемеев. Ветер гудел там заунывно, и большая, квадратной формы зала, где дети проводили ночь, была окружена баре-

льефами красноватого цвета, которые становились как бы подвижными под переменчивым светом лампы.

Занавес делил комнату на две части, но Присцилла не любила проводить ночь рядом с братом. Марк содержал в себе признаки вырождения. Его развитие шло чрезвычайно медленно. Он часто смеялся идиотским беспричинным смехом. С возрастом его уши стали чрезмерно оттопыренными, наподобие веера, нос сделался слишком длинным, губы толстыми, и весь он, со своей немного сутулой спиной и огромными кистями рук напоминал животное. Его сестра возбуждала в нем болезненное физическое влечение. Он не мог находиться возле нее без того, что не обнимать ее за шею, шупать ее руки, ласкать кожу. Иногда она была вынуждена его ударить, чтобы он оставил ее в покое. Таким образом, в этой комнате, где Марку было страшнее, чем ей, она боялась, что он придет к ней спать. Она разговаривала с ним, чтобы его успокоить, и долго смотрела на его тень с ушами, похожими на два смешных крыла, которую он отбрасывал на занавеси, сидя на своем ложе.

Но на следующий вечер Присцилла наслаждалась тем великим волнением красоты, которое вызывает в детях великолепие природы, когда это волнение примешивается к страху.

Делали привал недалеко от пруда, в глубине песчаного ущелья, возле нескольких карликовых пальм. Рабы бегали взад и вперед, чтобы разложить огонь, разбить шатры и напоить верблюдов. Солдаты растягивались на земле, и, когда луна появлялась на небе, ее маленькие золотистые блики плясали на их блестящих доспехах. Некоторые из них метали дротики, чтобы развлечь детей. Наконец составляли большой круг и приступали к ужину.

Тогда при свете огня, как призрак, вышедший из тьмы, появлялся старый анахорет с длинной, до пят, седой бородой. Он поднимал маленький деревянный крест и благословлял всех, даже тех солдат, которые не были христианами, но и они преклоняли колена, как и все остальные. Потом он садился и не отказывался принять участие в еде, питье и шутках. Он пристально глядел на Присциллу своими необычайно умными, смеющимися и добрыми глазами и рассказывал, держа над огнем свои морщинистые руки, дивные сказания о чудесах. Затем он оставлял лагерь и исчезал, словно возвращаясь в другой мир. При этом однажды раздалось рычание льва, и когда Присцилла выразила тревогу за старика, ей объяснили, к ее великому восхищению, что для того, чтобы дикие звери пустыни начинали лизать ноги пустыльников, тем надо только протянуть средний палец, оставляя другие сжатыми, и прошептать имя Христа.

Поздно ночью кто-нибудь из солдат, родом с севера, затягивал песню, протяжную и печальную, от которой в воображении вставали широкие реки среди сосновых лесов, селения, косо освещенные низким солнцем, и дым, стелющийся над снежными долинами. И Присцилла засыпала под эту песнь с сердцем, сладостно охваченным тревогой, сжимая в каждой руке по горсти горячего песка земли Египетской.

Не без боязни дворецкий Лонгиниан и солдаты каравана приближались к монастырю. Они издали рассматривали его ужасный каменный силуэт, вырисовывающийся на горизонте, спрашивая себя, не превратилась ли в могилу эта обитель. Это место покаяния сделалось знаменитым в Александрии. Там было известно, какие муки скрывались за этими стенами, какие опасности угрожали этому уединенному месту, и к благочестивому восхищению, которое оно вызывало, примешивалось немного жалости и немного ужаса.

Ибо не все монахини добровольно поступали в этот монастырь. Знатные семьи ссылали туда девушек, одержимых демоном похоти, а мужья – неверных жен. Лицом к лицу с огненным небом и мрачной протяженностью пустыни, палимые жаждой, грешницы должны были неизбежно раскаяться в своих грехах. И многие в узкой келье, откуда они могли убежать лишь на верную смерть, кончали тем, что покорялись.

Но не все! Подчас случались ужасные возмущения, которые подавлялись только энергией Зенобии.

Крестьяне, которые четыре раза в год снабжали провиантом монастырь, слышали там множество жалоб, призывов на помощь и уезжали, крестясь, сомневаясь в своих простых сердцах, чтобы столько страданий могло быть угодно Богу.

Ежегодно, по неизменному обету, Присцилла и ее брат посещали монастырь Жажды. Караван располагался у подножья холма. Лонгиниан проходил с детьми, держа их за руки, по узкой тропинке, которая вела зигзагами к воротам монастыря. Три раба шли за ними, нагруженные бананами, финиками и оливами – единственными дарами, которые Зенобия соглашалась принимать. Неизменно она стояла на пороге. Она не улыбалась и почти ничего не говорила. Она провожала детей через двор. Тогда из одной кельи, которая была напротив, выходила женщина с огромными глазами, полными слез, и с лицом, черты которого с каждым годом все больше обострялись. Она по очереди целовала Присциллу и Марка, особенно Присциллу – изо всех сил. Это длилось лишь несколько мгновений, это не должно было длиться больше в силу условия, правда принятого, но тем не менее жестокого. Женщина всякий раз делала умоляющий жест, Зенобия делала другой, оставаясь безмолвной, как Божественное правосудие, и уводила детей. Она провожала их до ворот и протягивала руки, благословляя их.

Это было все. Это длинное путешествие не имело другой цели, кроме свидания на несколько секунд. После этого – назад в Александрию.

Дети покорно относятся ко всяким событиям, какими бы странными они им ни казались, видя в них следствие судьбы, в которой они ничего не могут изменить. Перед глазами Присциллы разворачивались акты одной драмы, но она их плохо связывала между собой и, не понимая основных причин, не понимала и жестокости драмы.

Она помнила отдаленное время, когда жизнь вдруг резко переменилась в доме Диодора. Сперва ей сказали, что ее мать больна и лежит у себя в комнате. Ей запретили ходить к ней. Прошло несколько дней. Присцилла заметила, что ни один из домашних врачей не являлся и только епископ Кирилл стал часто бывать у ее деда. Ее отец плакал беспрестанно, и Присцилла слышала, как Кирилл и старый Диодор, указывая на него, говорили, что они должны его спасти.

Ее мать была больна, а речь шла о спасении отца. Она ничего не понимала.

Как-то, играя в саду, она заметила мать у окна комнаты. Никогда еще та не была так полна жизни. Никогда еще не смотрела она так страстно на лазурь неба своими блестящими большими глазами. Волосы, заплетенные в тяжелые косы, отягощали ее затылок, подобные живому растению. Ее шея молочной белизны и край белоснежного плеча свидетельствовали о благородной роскоши крови. Этот образ, полный желаний, на фоне ветвей сикоморы, казалось, пил послеполуденное солнце, и от него исходило столько молодости и любви, что Присцилла замерла в ослеплении.

Следующей ночью она проснулась от раздирающего душу крика матери. К этому крику примешивался голос ее деда, сухой, неумолимый. На лестнице были слышны чьи-то шаги. На дворе ржал конь. Присцилла встала с постели, приоткрыла дверь своей комнаты и наклонилась над каменной балюстрадой.

Она не могла вполне разобрать слова. Ее мать о чем-то умоляла. Она повторяла имена Присциллы и Марка. Она просила о чем-то, на что ей не давали согласия.

– Ты будешь видеть их раз в год, я клянусь в этом перед Богом, – сказал Диодор.

– Сжальтесь надо мной! Сжальтесь надо мной!

Присцилла бросилась бегом по лестнице. Но необъяснимый страх вдруг удержал ее.

О! Почему она тогда не спустилась вниз?! Всю свою последующую жизнь она не переставала упрекать себя за это тысячи раз, тысячи раз вопрошая себя, какая сила помешала ей это сделать. В этот миг решалась судьба ее семьи и ее собственная. Если бы, повинувшись своему инстинкту, она внезапно появилась в своей длинной полотняной сорочке, подобно ангелу-спасителю, на которого, без сомнения, уповала ее мать, непреклонность ее деда была бы поко-

леблена и сменилась бы состраданием к ней. Но нет! Она не осмелилась. Медленно вернулась она в свою комнату. Она еще вслушивалась. Большой портал закрылся. Она уснула.

Присцилла знала, что все это сделал ее дед, следуя советам епископа Кирилла. Ее отец умел только плакать и повиняться. В первый раз, отправляясь в прекрасное путешествие, она слышала распоряжения, которые отдавал старый Диодор дворецкому Лонгиниану:

– Я обещал ей, что она будет видеть их раз в год, но я не давал никаких обещаний относительно длительности свидания. Вы должны позволить ей бросить на детей лишь один-единственный взгляд, не более.

И так как Лонгиниан стоял перед ним в позе человека, с губ которого вот-вот должна сорваться неосторожная фраза, он прибавил:

– Сам патриарх так постановил.

Диодор распространил слух, что она добровольно ушла в монастырь в результате мистического настроения. Те, кто знал ее, конечно, не могли в это поверить. Один богатый александриец, с которым ее иногда встречали, исчез в то же самое время, но это исчезновение не было поставлено в связь с ее уходом в монастырь. Годы проходили. Все забывалось.

Присцилла привыкла видеть свою мать только там, в течение нескольких мгновений, под пылающим небом, в царстве камней и песка; она привыкла видеть, как ее чистое и прозрачное лицо, снедаемое мукой вечной жажды, с каждым годом теряет свою красоту и делается после каждого их посещения все более замкнутым, отчаявшимся, принимая все большее сходство с мрачной пустыней.

Что случилось в этом году? Не стала ли жизнь Присциллы и Марка более привлекательной? Не раздражаются ли смирившиеся души неожиданным взрывом возмущения, подобным волне, идущей со дна и внезапно приводящей в волнение спокойное море?

Все произошло обычным порядком. Лонгиниан и дети поднялись по извилистой тропинке, рабы опустили плоды на порог, и несколько молчаливых женщин унесли их в амбары за часовней. Поцелуй, ожидаемый в течение целого года, был дан, слезы пролиты, и Присцилла, удаляясь со двора, унесла одну слезу на своей щеке, и эта слеза так быстро высохла! Ворота закрылись, дети сошли по тропинке вниз, и верблюды, вытягивая свои шеи, отправились в обратный путь.

И тогда послышался странный крик. Это был не призыв каравану остановиться и ждать, это не была человеческая жалоба, – это был звук хриплый, как рев зверя, голос, исходящий из самой глубины существа, крик ужасный, протяжный, вызванный не страданием, но чем-то худшим, не имеющим названия, превышающим всякую меру ужаса, который только можно вообразить.

Показалась фигура, спускающаяся вниз, размахивающая руками и бегущая по камням так быстро, что, не веря своим глазам, люди оцепенели.

Растрепанная женщина, с глазами, полными ужаса, скользила по склонам, то исчезая, то вновь появляясь. Она добежала до подножья холма и вступила на песок.

Все поняли, в чем дело, ибо история дома Диодора была известна в Александрии, и теперь в ужасе переглядывались.

Лонгиниан отдал приказание нескольким солдатам. Нужно было увести мать обратно в монастырь, применив в случае надобности силу, и удалить детей.

Дикое и ужасное существо цеплялось теперь за большой кожаный мех, подвешенный к боку верблюда, не переставая испускать жуткий крик. Этому крику, под властным влиянием необъяснимой общности, ответил другой, подобный первому. Он рвался из груди Марка несмотря на то, что его глупое лицо выражало полное непонимание происходящего.

Одна минута прошла в необычайном замешательстве. Присцилла соскользнула на песок, пытаясь кинуться к матери. Лонгиниану удалось ее схватить, и она забилась в его руках. Тогда один из солдат, которого называли варваром, человек простой и молчаливый, с длинными

белокурыми волосами, выхватил свой меч и, прежде чем кто-либо успел опомниться, с размаху ударил им по голове одного из своих товарищей, который в это время с силой отрывал руки женщины от кожаного меха на боку верблюда. Варвар был бледен и весь дрожал. Его удар, нанесенный вслепую, пришелся по каске солдата и не причинил ему ни малейшего вреда.

Солдаты окружили варвара, который только повторял:

– Нужно иметь к ней жалость! У меня тоже были дети!

Все это произошло очень быстро, но навсегда запечатлелось в памяти участников этой сцены. Наконец явилась сама Зенобия. Ее сопровождали несколько монахинь, но это оказалось излишним. Мать Присциллы, совершенно покорно, маленькими шажками, как напроказившее и боящееся наказания дитя, направилась к монастырю, сжавшись, съежившись, согнувшись пополам под своими драными покрывалами, похожая на грудку лохмотьев. Вся ее энергия, накопившаяся за много лет, выплеснулась наружу. Она даже не обернулась...

В тот же самый год старый Диодор был убит. Его сын был жалким, слабым и безвольным человеком. Он сделался еще более неуверенным и робким, и у него вошло в привычку не принимать никаких решений и даже не помышлять о чем-либо без того, чтобы не доложить об этом епископу Кириллу.

А тот отменил ежегодное путешествие детей в монастырь Жажды: произошедший скандал уничтожал силу прежнего обещания.

Диодор однажды попытался вступить.

– Но ведь это не только в интересах твоих детей, но даже в интересах несчастной грешницы, – возразил епископ.

Следующей осенью, когда пальмы пустыни покрылись багрянцем, а земля испускала тяжелые испарения – предвестники самума, несчастная грешница смотрела в продолжение многих дней в оконный крест, впускавший немного света в ее комнату: этот крест не принесет ей больше никогда никакой надежды.

Глава III

Ипатия

В удушающем послеполуденном зное тамариски, росшие в саду, были неподвижны, грозди глициний казались нарисованными на лазури небес, Ю кругом с жужжанием вились пчелы.

Присцилла слегка закинула голову назад и, устремив взгляд вдаль, как будто выражая уже давно явившуюся мысль, вдруг сказала:

– Я хотела бы повидать Ипатию.

Лицо Майорина, который исполнял для Присциллы и ее брата роль гувернера и в данный момент давал им урок истории, при этом имени приняло выражение грусти, смешанной с ненавистью. Его веки сморщились, лицо пожелтело. У него была болезнь печени, и малейшая неприятность сейчас же отражалась на его лице.

– Правда ли, что нет в Александрии женщины более прекрасной? – спросила Присцилла.

– Злые никогда не бывают прекрасными, – сказал Майорин, придавая своим губам выражение отвращения. – Каждый по-своему понимает красоту. В тех редких случаях, когда мне приходилось встречать эту женщину, я испытывал ощущение самого мерзкого безобразия, безобразия души, и я тотчас убежал прочь. Ограниченные язычники, которые услаждаются ложью, могут ценить ее лицо и находить в нем красоту. Если и есть в ней какая-то красота, то лишь та, которую порождают самые низкие пороки. Может быть, линия ее рта правильна, но когда я вижу, как этот рот раскрывается, чтобы говорить, я вспоминаю о сточных трубах Бруциума, которые отводят в море нечистоты Александрии.

Похожий на скелет, в черном одеянии, Майорин сидел напротив детей на каменной скамье, в тени одной из пальм сада.

Позади него стоял садовник с большой лейкой, которой он поливал мимозы. Вода, распыляясь веером через широкое сито лейки, окружала Майорина лучистым ореолом серебряного цвета, который подчеркивал желтизну его кожи, его худобу, морщины, скрытую злость, делая его похожим на карикатуру святого.

Ипатия!.. Для одних она была славой Александрии, для других – ее позором. Никогда еще ни в Афинах, ни в Риме женщина публично не занималась обучением философии. Это была неслыханная дерзость, которая в общественном мнении вызывала и возмущение и восхищение. Ее величавая красота, строгий образ жизни и несколько театральное тщеславие, с каким она подчеркивала и то и другое, еще более усиливали ее очарование. Префект Орест искал ее советов, Синезий, которого Птолемеев град провозгласил епископом за его справедливость, называл ее своей матерью, сестрой и любовницей по духу. Поэт Паллад сравнивал ее с Астреей и Минервой, посвящая ей гимны наподобие тех, что греческие поэты слагали в честь богов. Она нанесла удар по авторитету епископа Кирилла в Александрии, и возрастающее число учеников, приходивших слушать ее лекции в Музее, давало ее сторонникам основание утверждать, что благодаря ей философия восторжествовала в Египте над христианским учением. Многие ее любили, но до последнего времени она пренебрегала любовью. Ее черные, пышные, вьющиеся волосы были распущены, и в них красовался большой драгоценный камень зеленоватого цвета, неизвестной породы, причем говорили, что этим магическим камнем, сообщаям своим владельцу духовное могущество, некогда владел Ямблик – философ неоплатонической школы.

Она выписывала из Аравии редкие ароматные эссенции, которыми умащивалась, а ее покрывала были сотканы из столь тонкой материи, что как бы сливались с ее телом и открывали все ее гармоничное изящество. Вместе со своим отцом, математиком Феоном, она жила

в небольшом доме неподалеку от церкви Цезареи, и над входной дверью дома возвышалась сова из камня, эмблема Афины Паллады. К дому примыкал небольшой садик, в котором росли только лавровые деревья.

Взгляд Майорина выражал презрение и глубокое раздражение. Марк сладко спал с полуоткрытым ртом.

– Однако, – все же сказала Присцилла, – есть много философов и учителей, которые прибывают из Коринфа, Антиохии и Рима, чтобы ее послушать. Говорят, что никогда в Музее не было столь большого стечения народа, какое бывает на ее лекциях.

Майорин разразился горьким смехом:

– Философы? Учители? Учители чего? Лжи? Чему они учат? Трем ипостасям Аммония, гностической мудрости. Да это курам на смех! Поистине в печальные времена мы живем! Дают распространяться заблуждению, забывают, что оно имеет скрытую силу, которая позволяет ему распространяться легче, чем истина, и что демон снабжает заблуждение своими крыльями. У нас же связаны руки. Нам нужен другой префект!

– Я хотела бы увидеть Ипатию, хоть бы один раз, – прошептала Присцилла, которая не слушала его больше.

Майорин пожал плечами. Он пустился порицать неприличие подобного желания, утверждая, что оно никогда не осуществится.

Маленькая гусеница, желтая, как капля золота, упала на его черное одеяние, образовав на нем живое пятнышко. Он встал, чтобы его стряхнуть. Это его развлекло. Марк крепко спал. Присцилла смеялась. Он прервал урок и поднялся в свою комнату, находившуюся под крышей. Он не сомневался, что таинственный закон, который связывает события и выводит великие последствия из незначительных причин, еще сегодня столкнет его ученицу с Ипатией и что это только первая сцена большой драмы, которой суждено будет разыграться.

Теперь Присцилле было пятнадцать лет. Ее груди развились, тело нежно розовело, ее глаза приняли выражение необычайной глубины, и мужчины смущались в ее присутствии, словно вдыхая частицу наслаждения, исходившего от всего ее существа и оставлявшего за собой след.

Многие дивились этому, ибо казалось, что логике природы присуще дарить чувственную красоту тела только тем, кто способен ею пользоваться.

Присцилла отдавалась религии со всем своим пылом. Естественно, что дочь самого богатого человека в Александрии имела тысячу претендентов на свою руку. Но вскоре распространилась молва, что она склоняется к монастырской жизни. Тесная дружба патриарха Александрийского и Диодора подтверждала это мнение, ибо Кирилл считал, что переход большого состояния в распоряжение монастыря мог послужить лишь к вящему могуществу Христа. К тому же он видел в этих деньгах источник дохода церкви.

В период созревания Присциллы желания мужской любви действовали на нее, подобно стрелам, вонзающимся в плоть. Ее целомудрие восторжествовало над первым любопытством, свойственным этому возрасту, и взамен пришло непрестанное страдание, от которого она не могла избавиться. Это страдание происходило от непристойных надписей, которые она, против воли, прочитывала на стенах, от некоторых слов или жестов, которые она схватывала на лету и смысл которых угадывала, и, наконец, от выражения некоторых глаз, смело устремленных на нее.

Когда она проходила вдоль гавани, ветер мучил ее тем, что плотно обвивал покрывало вокруг ее стана, неприлично подчеркивая прелести ее юного тела. Она опускала глаза, чтобы не видеть наготы негров, выгружавших товар, но все-таки эта нагота, столь близкая, хотя и не видимая ей, оскорбляла ее. Она не могла молиться в церкви, если возле нее на коленях стоял мужчина. Когда весенними утрами она открывала свое окно, то вдыхала вместе с цветочной

пыльцой и растительной пылью сада что-то такое чувственное, что заставляло ее обмирать от отвращения.

Брат, со своей стороны, пытался ее ласкать, и его ласки, хотя и редкие, были ей ненавистны. Развитие Марка не подвигалось с годами. Периодами он впадал в совершенный идиотизм. Тогда он смеялся не переставая и думал лишь о том, чтобы приблизиться к сестре. Когда он находился с ней наедине, в саду или в комнате, он неожиданно схватывал ее в объятия и прижимал к себе, пока ей не удавалось силой высвободиться из его рук. Иногда он целовал ее в шею и, сопя, вдыхал аромат ее кожи или же смеялся без конца, заворачиваясь в ее вышитый плащ, в котором чувствовал что-то собственное. Строго говоря, все это не выходило за пределы проявлений нежности, которые брат может позволить себе по отношению к сестре, но Присцилла, осознанно или нет, чувствовала в этом тайный порыв, любовь к ее плоти, которая обладала силой греховного притяжения, и это пронизывало ее страданием.

К ее отцу часто приходил некто Петр, псаломщик церкви Святого Марка, который пользовался доверием епископа Кирилла. Это был геркулес, задыхавшийся при ходьбе; от него исходил запах чеснока и ношеного белья. Его коротко стриженные волосы начинались у самых глаз, совсем маленьких, так что казалось, что у него совсем нет лба; благодаря заостренной форме головы, выдающейся челюсти, испорченным зубам, лоснящимся щекам, он наводил на мысль о чудовищной свинье. Его руки, вследствие какого-то особенного недуга, были всегда покрыты липким потом, что не мешало ему протягивать их встречным людям с такой настойчивостью, что приходилось их пожимать.

Этот Петр был одержим постоянной похотью. Вечером он бродил по пустынным кварталам, где опрокидывал наземь встречных женщин и овладевал ими силой, или же, сидя у главного входа церкви Святого Марка, шепотом делал предложения женщинам, которые приходили молиться без провожатых. Иногда он прибегал к угрозам, иногда – к обещаниям. Одна негритянка из Ракотийского квартала пыталась убить его из ревности. Говорили, что когда-то он был приговорен за воровство к каторжным работам. Никто не знал, каким образом ему удалось возвыситься.

Он служил для Присциллы символом чувственного безобразия, которым она была окружена. Его присутствие оскорбляло ее чистоту. Внешне он держал себя почтительно, но так смотрел на нее своими моргающими глазами, что казалось, будто раздевает ее и рассматривает ее тело, начиная от густых волос и кончая нежными ступнями ног. Она замечала тогда неуловимую дрожь его рта, и это движение было единственным проявлением его желания, но она была вынуждена бежать от этой скверны.

И перед сном, в своей комнате, прочтя все молитвы, ей случалось плакать перед большим бронзовым зеркалом, стоявшим у подножия ее кровати, созерцая это вместилище зла, этот греховный сосуд, которым было ее тонкое и чрезмерно красивое тело.

Майорин никогда не мог объяснить того, что случилось. Перед Музеем стояла толпа. Множество молодых людей расположилось вокруг двенадцати крылатых коней, окружающих портал, ожидая выхода Ипатии, чтобы приветствовать ее криками.

Следуя за Присциллой и Марком, он шел от них на довольно значительном расстоянии по улице Сема, как вдруг увидел колесницу, которая разворачивалась назад, не будучи в состоянии пробиться сквозь толпу.

В ней сидел епископ Кирилл. Его губы были плотно сжаты, а громадный лоб изборозжен глубокими морщинами.

– И она у меня повернет назад, – пробормотал он.

Майорин подумал, что было бы прилично последовать примеру епископа и не смешиваться с этой толпой язычников, где его священнический вид начал вызывать насмешки дерзкой молодежи.

– Идемте, идемте, не задерживайтесь среди этих людей. Следуйте за мной, – сказал он.

Очевидно, ни Марк, ни Присцилла не услышали его, потому что продолжали свой путь вдоль Музея, в то время как он быстро зашагал в сторону. Когда Майорин заметил, что он один, и захотел нагнать своих воспитанников, ему помешал водоворот толпы.

И тут Присцилла впервые познала прелесть мужского взгляда. Молодой человек, который шел рядом с ней, пристально смотрел на нее и улыбался. Его волосы были разделены пробором, а лицо с правильными чертами было спокойно и прекрасно. Одет он был изысканно. Его сиреневый хитон был заколот на плече египетской драгоценной пряжкой. Лиловый плащ был переброшен через плечо и волочился по земле. В его манерах было что-то небрежное, непринужденное и веселое. Присцилла была поражена, заметив на его запястье несколько браслетов.

– Если вы хотите увидеть Ипатию, пойдемте со мной, я вас познакомлю.

Он сказал это так, словно Присцилла и Марк были его давнишними знакомыми.

– Выйдем из толпы. Этой дорогой мы доберемся через несколько минут.

И, не дожидаясь ответа, уверенный в том, что его предложение принято, он пошел по узкой улице, лежащей слева, и углубился в старый Бруциум.

Он по-дружески отнесся к Марку, словно тот был его старым товарищем, хотя и раскусил его с первого взгляда.

Желание помешать брату дать нелепый ответ, а также страстное стремление увидеть Ипатию заставили Присциллу пробормотать несколько слов, и немного робко она повернула с братом вслед за молодым человеком.

– Я из рода Азариасов, и меня зовут Теламон, – сказал юноша не без некоторой гордости.

Потом, по дороге, он рассказал, что его отец построил гимназиум, подобный эфесскому, в квартале общественных садов, недалеко от развалин македонского акрополя. Там несколько юношей, влюбленных в античную Грецию, собирались в сумерки беседовать на философские темы, купаться и предаваться всевозможным античным играм.

– Ипатия больше всего любит метать диск. Вы сможете посостязаться с ней, если только вы прежде немного упражнялись в этом, – сказал Теламон, бросив ироничный взгляд в сторону Марка. – Там есть и ристалище для бега, и крытая галерея для борьбы. Мои сестры устраивают там состязания, подобно настоящим атлетам. Но, может быть, вы предпочитаете пить прохладительные напитки, слушая речи философов? Это, пожалуй, самое трудное. Правда, можно следовать примеру Антагора, то есть слушать, не понимая. Прокл бывает там почти ежедневно, а также – Исидор Газа. Это самый интересный из всех, потому что он рассказывает видения, которые ему являлись, и разгадывает сны. Может быть, кто-нибудь из вас видел прошлой ночью какой-нибудь диковинный сон, символический смысл которого вы хотели бы узнать?

О да! Присцилла видела сон, ужасный сон, от которого она внезапно пробудилась, вся в холодном поту.

Она шла маленькая и белая по бесконечной аллее, окаймленной кипарисами, обелисками и каменными сфинксами, рядом с этим чудовищем Петром, который приходил к ее отцу и вид которого вызывал в ней глубокое отвращение. Он держал ее за руку, и она чувствовала его потную ладонь и пальцы. Она была его вещью, его собственностью, его рабой. Он не тащил ее силой. Она шла рядом с ним послушно, по своей доброй воле.

Справа и слева знакомые ей люди смотрели на нее с ужасом. Но по мере того как она шла, ею овладевало веселье. От ее спутника исходил тошнотворный запах, и порой он издавал звериное ворчание. Они торопливо шли к намеченной цели, которая издали вырисовывалась в лунном сиянии. И эта цель была бедной часовней, походившей на ту, которую она видела несколько лет назад в песках, среди келий монастыря сирийки Зенобии. На пороге этой часовни стоял Иисус Христос. Но это не был церковный Христос, изображение которого носят во время процессии. Он не был ни сияющим, ни блестящим. У него была треугольная борода по обычаю евреев с берегов Мертвого моря. Одно плечо у него было выше другого, колени искривлены, и, подойдя ближе, Присцилла увидела, что тело его было совершенно обезобра-

жено. Под лохмотьями, которые его прикрывали, она различала следы проказы, влажные язвы, мерзкие болячки. Тело его было покрыто отвратительными насекомыми. Паразиты ползали по его ногам, вши шевелились в его волосах, черви поедали его нарывы. Она поняла, что это был настоящий, человеческий Христос, который принял на себя все грехи и несчастья, чтобы спасти дух. И она упала на колени, чтобы преклониться перед ним. Но тогда ужасный Петр, ее мерзкий спутник, с силой встряхнул ее и протянул ей камень, чтобы она бросила его в прекрасного Христа. Она заметила, что кисть ее руки была липкой, но не от пота, а от крови, которой она запачкала свои руки и белую тунику и которая капала с нее в продолжение всего длинного пути по аллее. Она почувствовала, что должна против своей воли совершить самое ужасное преступление – бросить камень изо всех сил. И она его бросила.

Но как осмелится она рассказать этот сон и кто сумеет его разгадать?

– Мы пришли. Посмотрите на барельеф, что в низу двери, – сказал Теламон, – мой отец его нашел. Это работа Фидия, и он украшал храм Аполлона в Делосе...

Первый двор был вымощен большими мозаичными плитами оранжевого цвета и окружен бюстами Сократа, Платона и наиболее славных греческих философов.

Через мраморные ворота молодые люди проникли во второй двор – квадратный, обсаженный пальмами, окруженный двойным портиком, посередине которого стояла статуя Гермеса. Сидя на каменных скамьях, несколько человек образовали полукруг и разговаривали, вдыхая свежую прохладу сумерек.

– Ипатия опередила нас, – весело сказал Теламон, пропуская вперед своих двух спутников.

В самом деле, она была там. Присцилла в замешательстве смотрела на знаменитую последовательницу неоплатонической школы.

Овал ее лица был совершенен. Большой зеленый драгоценный камень, который она носила в своих волнистых волосах, бросал на ее неподвижные черты изумрудный отблеск. Глаза ее были огромны, переменчивы, прозрачны, и нельзя было сказать, зеленого ли они цвета, как драгоценный камень в ее волосах, или синего, как сапфировое ожерелье вокруг ее шеи. Она была закутана в восточную шаль более темной синевы, чем цвет сапфира, синевы бурного моря в сумерках; шаль была усыпана серебряными сверкающими блестками, от которых она переливалась и бросала отсвет, подобно волне, отражающей звезды.

– Я ждала тебя, – сказала она, вставая. – Ты ведь знаешь, что в метании диска ты – мой излюбленный партнер.

И величественным, немного театральным жестом она протянула Теламону свою маленькую руку, прибавив с улыбкой обычное приветствие древних греков, которое переняли эллины Александрии:

– Возвеселись!

В самом деле, Теламон мог возвеселиться. Лицо Ипатии освещалось только мыслями, которые ей были дороги, и вдруг она сразу оживилась и стала действительно веселой, когда увидела юношу. Это не ускользнуло от внимания высокого и сильного, украшенного драгоценностями мужчины, сидевшего рядом с ней. То был богатый поэт Паллад. Он покраснел от неожиданности и уязвленного тщеславия. Пушистые, завитые волосы придавали ему вид большого, розового барана, которого легко раздражить. Он считал себя самым прекрасным и самым умным человеком в Александрии, и его природная гордость была так велика, что дружеский жест, любезное слово, обращенное женщиной в его присутствии ко всякому другому мужчине, он воспринимал как личное оскорбление.

– Какая прекрасная девушка! – сказала Ипатия, разглядывая Присциллу и осторожно приподнимая вуаль, которая закрывала часть ее лба.

Присцилла на одно мгновение увидела чудесный взгляд философики, устремленный на нее. В нем было искреннее восхищение, немного невольной нежности и, может быть, та капля

зависти, которую женщина в тридцать лет всегда испытывает в присутствии пятнадцатилетней девушки.

Они стояли друг против друга, почти одинакового роста, являя собой образ женской красоты в двух его видах: познания и невинности.

– Дитя! Дитя! – шептала Ипатия вполголоса, скорее для самой себя, чем для Присциллы. – Пользуйся жизнью как только можешь. Быть может, есть мудрость, которая ускользает от мудрых и которой владеют лишь те, кто ничего не знает.

Все, что Присцилла затем видела и слышала, казалось ей странным сном, от которого она очень хотела бы освободиться. Но каким образом? Марк громко смеялся в обществе двух или трех молодых людей, которых забавляли его оттопыренные уши и слишком длинный нос. Присцилла последовала за Ипатией и Теламоном в крытую галерею и уже представляла себе те выражения, в которых на следующий день будет исповедоваться в грехе, куда робость погружала ее все глубже и глубже.

Крытая галерея была узкая и длинная, с двумя рядами платанов, верхушки которых освещало заходящее солнце. Два негра-раба, сидевшие на корточках на пороге, встали и подняли лежавшие возле них на земле металлические диски с привязанным к ним ремнем.

Естественным жестом, без колебания и стеснения, Ипатия сняла большую, синюю в серебряных блестках шаль, обвивавшую ее тело, затем скинула голубую тунику. К великому замешательству Присциллы, она появилась почти обнаженная, в коротких шелковых штанишках и в прозрачной тунике бледно-голубого цвета, переходящего почти в белый, которая открывала ее плечи, часть груди и ноги. Спокойная и блистательная, без мысли о своем теле, она взяла диск из рук негра и вышла на солнце.

Теламон последовал ее примеру. Тело его было бронзового цвета, мускулистое, широкое в плечах, узкое в бедрах, голени казались выточенными. Присцилла вспомнила слова, слышанные ею во время проповеди относительно испорченности языческих нравов. Смысл этих слов оставался для нее загадкой. Но теперь она их поняла. Чувство симпатии, которое поначалу она испытывала к Ипатии, сменилось ужасом. Что это было за создание, которое без колебаний открывало перед мужчиной и женщиной свои формы: ведь Бог сотворил их на погибель и повелел скрывать их стыд!

Теламон и Ипатия по очереди метали диск и бегали смотреть, на каком расстоянии он упал; при этом они радостно смеялись, лица их разгорелись, и сияние непорочной жизни исходило от их движений.

Но это продолжалось лишь несколько минут. Внезапно, не предупредив своего партнера, Ипатия бросила к его ногам диск и тремя легкими прыжками исчезла в дверях направо, ведущих в купальню, где принимались холодные ванны.

Теламон, должно быть, привык к неожиданным выходкам Ипатии, так как тоже направился к двери мужской купальни, находящейся напротив.

– Не скучай, девочка, – услышала Присцилла сквозь шум журчащей воды. – Только когда ты познаешь математику и философию, ты поймешь, какое наслаждение доставляют метание диска и холодная вода на разгоряченном теле. Но, может быть, для тебя не имеет значения наслаждение?

Если бы Присцилла смогла сейчас же отыскать своего брата, она, возможно, и решилась бы убежать из гимназиума. Но страх показаться смешной и тайное тяготение к этому миру, столь новому для нее, удержали ее.

Впрочем, пришедшая группа людей наводнила галерею и окружила Ипатию, вышедшую из купальни под своим покрывалом цвета морской воды.

Худой человек со сверкающими глазами поднял к небу дрожащий палец и, жестикулируя, громко заговорил. Это был Исидор Газа, один из лучших друзей Ипатии, который слыл даже ее женихом.

Он говорил с необычайной быстротой.

– Существует соответствие между снами существ, связанных узами симпатии. То, что невидимый мир рисует для меня во время сна, он рисует также и для тех, чей образ создал мой дух перед тем, как уснуть. Сны исполняются, и, если удастся уловить связь, существующую между ними, можно прочесть будущее легче, чем прошлое. Я утверждаю, что стою на пути строго научного разгадывания снов. Не угодно ли вам, чтобы я показал вам блестящий пример? Я не совещался с Ипатией. Я не видел ее со вчерашнего дня. И я вам скажу, что она видела во сне в предрассветный час, в тот час, когда сны почти всегда бывают символическими.

– Ну? – спросили сразу несколько человек.

– Ты видела во сне, – сказал он, оборачиваясь к Ипатии, – и я в этом совершенно уверен – льва, сидящего на задних лапах между двумя пустыми урнами недалеко от разрушенной башни. И я добавляю, что на вершине башни сидели черные птицы.

Ипатия улыбнулась и заявила, что она не только ничего подобного не видела во сне, но даже совсем не имела сновидений.

– Напряги свою память, – сказал Исидор.

Нет, ее сон был глубок и совершенно лишен сновидений.

– Это ничего не меняет в том, что я говорю, – заявил Исидор, бросая на присутствующих взгляд, исполненный радостной ясности, какую может дать только непоколебимая вера. – Образ существовал. Только сон был слишком глубок, чтобы сознание могло его удержать. Я достиг того, что почти вся жизнь Ипатии разворачивается перед моими глазами. Я знаю, что она скоро отправится в Афины, что она будет выступать в Риме, а также проживет некоторое время в Сиракузах. И какая долговечность! Я знаю, что она проживет до ста лет...

– Вот уж благодарю! – сказала Ипатия.

Пошли гулять под платанами. Присцилла слышала утверждение Исидора, что, когда он выпустит свой трактат «О соответствии ночных снов», каждый сможет узнать свое будущее и вследствие этого лучше устроить свою жизнь. Она смотрела на него с ужасом, думая, что это один из тех магов, которых осуждала церковь.

Теламон, наклонясь к ней, указал ей на человека лет тридцати, который в это время разговаривал с Ипатией:

– Вот Прокл.

Но это имя было неизвестно Присцилле.

– Он был посвящен в халдейское таинство, – прибавил Теламон с восхищением. – Минерва три раза являлась ему в детстве.

Заходящее солнце разливало невыразимо нежный свет. Слышались доносящиеся с ристалища крики и смех юношей, и звонкие голоса их звучали музыкой. Другие, окутанные белыми плащами, вели диспут под портиками.

Группа, следовавшая за Присциллой, прошла в сад, аллеи которого, усыпанные песком, были окаймлены густыми зарослями бересклета, только что политого, где переливались сверкающие капельки, подобно маленьким жемчужинам.

Струи воды били из ониксовых фонтанов, окруженных белыми лавровыми деревьями.

Присцилла очень плохо понимала то, что слышала, и ее угрызения совести становились все мучительнее, потому что она сознавала, что испытывает удовольствие, встречаясь взглядом с Теламоном.

Лицо Прокла было полно энтузиазма. Ему были открыты тайны божества, и он жил в дивной атмосфере, которую его воображение создало вокруг него. Он был приглашен в Вавилон жрецом на мистериях в честь великой Гекаты. Он вступил в общение, благодаря интуиции, с гениями и духами высшего разума. Он совершал очистительные жертвы, практикуемые в орфических мистериях, он подразделял дни на присутственные и неприсутственные, подобно египетским священникам; он очищал себя в честь Весты, он постился в честь Астарты, он

читал на восходе и на закате молитвы в честь солнца. Все виды священного служения были ему знакомы, все обряды – дороги.

– Иисус был не более, как посвященный в таинство, впавший в заблуждение, – говорил он Ипатии. – Он изменил мистериям. Он слишком рано раскрыл их, чтобы сделать полезными людям. Мы присутствуем лишь при начале печальных последствий его ошибки. Ибо мы не можем предвидеть всех губительных последствий, какие будет иметь эта ненависть к культуре, это презрение к разуму и красоте, которое проповедуется его именем. Разумеется, он хотел не этого. Но не следует приводить в движение силы, употребления которых не знаешь, и низвергать на мир пламя, господином которого не являешься. Аполлоний Тианский поступал правильно, когда переходил из святилища в святилище, чтобы объединить религии и проповедовать, что один и тот же Бог находится во всех храмах. Он существует как для посвященных, так и для других людей в иных областях жизни. Никогда самый великий не приносит миру пальмовую ветвь. У славы завязаны глаза. Чтобы будить сердца людей, необходима даже некоторая доля народной посредственности.

– Разумеется, Аполлоний превосходил Иисуса величием мысли и поучениями своей жизни, – ответила Ипатия и обернулась, чтобы бросить долгий взгляд на Теламона, словно желая призвать его в свидетели. – Ему не следовало творить чудеса. Он исцелял больных, он пророчествовал, он становился невидимым, он воскресал из мертвых. К чему? Важна только истина. Недаром ее всегда представляли обнаженной, выходящей из источника. Горе мудрецу, который облакает ее одеянием волшебника и митрой мага. Его труд погибнет.

Глаза Прокла засверкали. Он смотрел на волосы Ипатии, тщательно завитые, на складки ее паллиума, артистически собранные, на гармонию ее движений, как будто личность Ипатии была живым противоречием ее же слов.

– Не думаешь ли ты о том, что твоя красота придает силу твоему учению и делает более убедительными истины, которые ты выражаешь? Впрочем, она есть дар, данный тебе только для этой цели духовными силами, которые нами управляют. Но разве и чистые духовные силы не отливаются в материальные формы, чтобы воздействовать на грубый разум людей? Афина Паллада на самом деле существует и будет существовать, пока мы будем во власти нашей, столь требовательной, телесной оболочки. Не замечаешь ли ты непостижимой глупости людей, их низости, их безумной любви к материальным благам? Сколько времени требуется для созревания одной идеи? Какой океан мрака мы пытаемся осветить одной искоркой? Еще понадобится много времени для того, чтобы мудрец и шарлатан стали похожи друг на друга. Иисус хорошо сделал, публично воскресив Лазаря, Аполлоний хорошо сделал, возвестив о смерти Домициана в Эфесе... И я, я следую их примеру, собираясь изобрести магический шар, с помощью которого смогу своей волей ниспосылать дождь и тем повергать людей в изумление: после этого они должны будут поверить в мою мудрость.

Беседуя, они сделали круг по саду и подошли к воротам, выходящим на первый двор гимназиума.

Ипатия, задумавшись, на мгновение остановилась у порога.

– Да, Платон сказал, что последняя оболочка, которую сбрасывает с себя мудрец, и притом с наибольшим трудом, это – личная гордость. Я не лгу себя мыслью, что уже дошла до этого. Но я думаю, что если от магического шара будет падать дождь с неба, то не в его власти будет сделать так, чтобы исчезли заблуждения. Люди падки на фокусы, проделки, чудеса. Тем хуже! Разум должен представлять совершенно чистым и обнаруживать свой блеск без всяких материальных доказательств. Пускай это будет для немногих! Истина опьяняет невежественных людей и вызывает в них вкус к убийствам. Недаром в храмах тайна была всегда главным принципом высших знаний. Мир будет страдать от заблуждений Иисуса и его гордыни.

Вслед за Ипатией и Проклом Присцилла собиралась пройти через ворота и удалиться из сада, теперь пустынного, где сумрак начал наполнять аллеи, накидывая покрывала на струи фонтанов и белизну лавровых деревьев.

Но вдруг Теламон с силой и вместе с тем нежно привлек ее к себе. Он обхватил ее за плечи и склонил к ней свое улыбающееся лицо. Неторопливо откинув руками голову Присциллы, он на мгновение нежно прикоснулся к ее губам.

Она не успела защититься от столь неожиданного поступка. Она обмерла, вдохнув из уст юноши легкий, пьянящий аромат меда и акации, который на миг лишил ее сознания.

Теламон смотрел на нее теперь без волнения, с выражением нежной иронии в глазах. Это был для него плод, который он надкусил, чаша драгоценного вина, из которой он отпил глоток, ничего больше.

Присцилла выпрямилась, дрожа всем телом, но при движении, которое она сделала, из-под ее туники выскользнул маленький золотой крест, висевший у нее на шее, подарок епископа Кирилла.

Теламон с удивлением посмотрел на эту драгоценность и даже коснулся ее, желая убедиться, что это действительно крест.

– Ты христианка! – сказал он.

Она не успела ответить ему утвердительно. Улыбка Теламона стала горькой. Он прижал девушку к себе бурным движением и снова поцеловал в губы. Но это был другой поцелуй: долгий, глубокий, он разжал ее уста, его она почувствовала на своих зубах, а руки Теламона сжимали ее груди и смело пробегали по всему телу.

Она отбивалась и вырывалась из объятий юноши. Она почувствовала ужас, тем более сильный, что сладострастие, доселе ей неизвестное, пронзило ее дрожью, и она испытала физическое страдание.

Она вспомнила вдруг, что ангел зла, желая ввести в соблазн, принимает образ прекраснейших детей человеческих. Сатана стоял перед нею в саду, исполненный очарования, с гибким станом, развратным лицом юноши, причесанный по моде греков эпохи Платона.

Все окружающее приняло для нее другой вид. За зарослью роз она читала надписи, более непристойные, чем в порту Киботос. В бассейнах лица демонов, ухмыляясь, разглядывали чувственные линии ее живота, которого, казалось, не скрывали больше складки покрывала. Волны живого зноя, подобно крыльям, скользили в воздухе и заливали ее вокруг бедер. Тела, трепетавшие в соитии, сотрясали белые лавровые деревья сада.

Она вышла из ворот, бросилась на двор, где она узнала стрельчатый выход среди бюстов философов. Ее брат был там. Она с силой схватила его за руку и увлекла прочь.

Выйдя наружу, она пустилась бежать. Она чувствовала глубокое отчаяние и думала только о том, что уносит на себе клеймо поцелуя, демонский знак зверя, запятнавший ее. И только позже ей суждено было узнать, что нет ничего более мучительного для добродетельной души, чем тоска по аду, увиденному однажды и добровольно потерянному.

В этот же самый вечер, в час, когда перед барельефом Фидия философы обменивались установленными формулами вечернего прощания, большая стая птиц пролетела белым облаком по темному небу. Они летели из Фив, они неслись с Верхнего Египта вместе с весной, они переселялись в страну, менее знойную.

И юноши, одетые в белое, ставшие внезапно серьезными и молчаливыми, в едином порыве протянули к ним свою правую руку. Птицы летели в Грецию, они коснутся золотого купола храма Солнца в Коринфе, дорических колонн Парфенона в Афинах и его купола, лазурного, как щит Минервы. Они сделают, может быть, остановку в Дельфах, чтобы напиться из мраморного бассейна, в котором Пифия купала свое бессмертное тело. Они будут летать там, откуда философы издали посылали свою благочестивую мысль.

Долго еще в сумерках они оставались неподвижны, пока ночь не укрыла своим мраком две белых стаи – на земле и на небе.

Глава IV

Кровь христиан

Старый Амораим спешил в этот вечер вернуться в еврейский квартал. Он ходил торговаться с купцом из Ракотийского квартала относительно покупки воска для своей свечной торговли в Дельтском переулке и, может быть, никогда еще не возвращался домой так поздно.

Проходя мимо общественных садов, он приостановился. Не повернуть ли налево и пойти прямо вверх по маленькой улице, которая, правда, пользовалась довольно дурной славой? Обычно он избегал ее, так как был набожным и скромным евреем и не мог видеть двери грязных притонов, так как чувствовал в своей душе возмущение. Не пойти ли ему по улице Садов, дорога через которую была, конечно, длиннее, зато все дома были приличны?

Он не знал, что в эти секунды решал вопрос о жизни и смерти сорока тысяч евреев – своих александрийских единоверцев.

Если бы он это знал, то упал бы во прах, моля Бога оставить ему его смирение, которым он всегда отличался, и дать спокойно торговать свечным воском в самой скромной лавчонке на самой узенькой улочке в Дельтском квартале.

Но человеку не известна его судьба, особенно когда он так простодушен и невежествен, как Амораим.

Он не любил долго выбирать. Когда в его голове возникали два решения, он всегда выбирал то, которому суждено было иметь печальные последствия.

Как бы далеко он ни заглядывал в свои воспоминания, он видел, что его всегда окружали неудачи, которые следовали за ним, как тень. Ребенком он во время игры сломал ногу и остался хромым. Отправившись в паломничество в Иерусалим, он подхватил злокачественную лихорадку в Яффе, где высадился с корабля. Там он пролежал три месяца у одного рыбака, дом которого сгорел во время его выздоровления, поэтому вынужден был вернуться в Египет, так и не приложившись к месту, где некогда возвышался храм.

Его жена умерла, родив ребенка, который не пережил ее. Он был арестован по подозрению в краже, потому что его приняли за другого Амораима, который был на него похож, и ему лишь с большим трудом удалось доказать свою невиновность. Он был некрасив и косноязычен. У него был маленький участок земли в окрестностях Александрии, но в прошлом году град уничтожил его жатву; это был какой-то необыкновенный град, который не тронул полей его соседей, но ограничился лишь маленьким квадратом его владения, точно сам Господь Бог пожелал подчеркнуть свою особую немилость к недостойному созданию. В довершение всех бед, раб, обслуживающий это поле, умер, и Амораим лишился последнего дохода со своего маленького имения.

Но он привык к ударам судьбы. Каждый раз он со все большей покорностью склонял голову. Он чувствовал, что его преследует злая сила. Вот почему, боясь последствий, он старался как можно меньше действовать. Он редко выходил из дома. Он испытывал тревожный страх, продавая свечи своим малочисленным покупателям, и, делая это, всегда произносил про себя молитву, чтобы пламя этих свечей освещало только счастье его ближнего.

Он остался добрым и кротким. Он не знал зависти, и радость для него заключалась в служении другим. Он не пенял на несправедливость своей участи. Но иногда наивно пытался обойти свою судьбу. Именно это он и сделал в тот вечер.

– Я пойду по улице Садов, – выразил он свое решение почти вслух.

И зашагал. Но, сделав два-три шага, он повернул назад, решив, что таким образом обманул враждебные силы, и направился прямо по Высокой улице, в конце которой начинался еврейский квартал.

Он споткнулся и едва не упал. Протянув руку, он нащупал что-то горячее и влажное. Он коснулся бороды, шеи, человеческого туловища. При неверном свете звезд он увидел кровь на руке. Кто-то лежал здесь недвижно.

Он наклонился и узнал лицо некоего Гиероса, известного в Александрии христианина, который имел школу и преподавал теологию.

Первая мысль Амораима была – бежать. Если обход солдат застигнет его возле этого человека, который был, вероятно, убит, как он докажет, что не он убийца? По делам, происшедшим в тесных границах их квартала, евреев судил их этнарх, но убийство христианина было подсудно императорскому трибуналу, и еврей, попавший туда, никогда не выходил оправданным.

Он пошел по Высокой улице, но сейчас же в его ушах прозвучало имя, произнесенное суровым тоном:

– Амораим!

Это он сам окликнул себя. Хотя ему никогда ничего не удавалось, он поставил себе за правило, чтобы никогда себя не упрекать, исполнять лишь то, что его совесть полагала справедливым.

А оставить мертвеца в канаве было несправедливо. Кругом все окна были закрыты. Надо было, конечно, постучаться в христианский дом, чтобы попросить помощи. С большим трудом он взвалил тело на спину и заковылял по улице. Он вспомнил, что церковь Святого Марка была недалеко, а рядом с ней находился красный кирпичный домик, где жил псаломщик.

Гиерос был человек большой и тучный. Амораим, который не был слишком силен, спотыкался под тяжестью своей ноши. Он шел потихоньку, маленькими шагами.

«Это за твои грехи, Амораим, Господь послал тяжесть на твои плечи. Ты не был ни достаточно набожным, ни достаточно смиренным».

Что-то текло по его уху, и это казалось ему более теплым, чем собственный пот. Несколько раз ему приходило в голову отказаться от своей затеи и положить тело у стены. Он вспомнил, подвигаясь вперед, что этот самый Гиерос ненавидел евреев и несколько раз публично выступал против них.

«Амораим, иди, Амораим!»

Как далеко эта церковь Святого Марка! Она как будто отступала назад на темном горизонте. Теперь ему казалось, что она кружилась вокруг него среди фарандолы колоннад иobelisks.

«Смелее, Амораим, чтобы исполнить доброе дело, которое готовит беду для твоих соплеменников! Сегодня ночью старый праведный человек должен донести эту тяжелую ношу, этот труп для того, чтобы восторжествовала несправедливость».

Амораим остановился перед узким окошком, едва не упав от усталости. Он дышал изо всех сил. Затем прислонил тело Гиероса к стене и постучал в ставень. Он стучал долго, ибо церковный сторож спал очень крепко.

Амораим услышал наконец ворчание человека, доносившееся изнутри дома. Ставень открылся, и громадная голова Петра-сторожа, лысая и страшная, показалась в окне.

Но это уж было выше Амораимовых сил. Кто угодно, только не этот человек! Он знал о его дурной славе. Он всегда сворачивал в сторону, встречая его на улице. Он боялся его, боялся скверны его дыхания, боялся зла, которое исходило от него благодаря взгляду маленьких глаз.

Впрочем, надо ведь было оказать помощь христианину. А он был на пороге обители друтого христианина.

– Гиерос! Это Гиерос, которого убили! – сказал Амораим ошеломленному Петру.

И, подстегиваемый ужасом, спасаясь от злой судьбы, которая теперь становилась уже навсегда неизбежной, он бросился бежать и исчез в ночи.

Петр, открыв дверь, успел различить, что убежавший был хромым человек, а заметив его широкие, как крылья, рукава и квадратную шапку, сказал:

– Да ведь это еврей!

Епископ Кирилл совмещал в своей душе пылкую веру, глубокую посредственность и безграничную любовь к богатству. Он был красноречив, ибо оратору не надо иметь много мыслей, и легко воодушевлял толпу, потому что своим высоким ростом, длинной бородой и голубыми глазами походил на изображение первых апостолов Христа. Он был лишен всякой чувствительности, хотя и обладал сангвиническим темпераментом и, вследствие этого, был подвержен приступам внезапного гнева, когда грубость его натуры давала себе полный выход. Он умел ненавидеть и был безжалостен к тем, кто думал иначе, чем он. Золото возбуждало в нем физическое влечение, с которым он никогда не мог справиться.

С обнаженной головой, при свете факелов, которые несли шестеро вооруженных слуг, он крупно шагал, сжимая руку своего спутника, который с трудом поспевал за ним.

Петр повторял свои объяснения:

– Их, должно быть, целая шайка. Они, без сомнения, убили его в своем квартале, куда он отважился забрести. После чего они в насмешку принесли его к церкви. Я слышал, как они богохульствовали и смеялись, убегая.

– Да, – сказал Кирилл. – Это так. У Гиероса были странные привычки. Он любил гулять по ночам один. И вот куда это его привело!

И он бросил строгий взгляд на Петра, который тоже блуждал иногда ночью по тем же самым причинам, что и Гиерос, по Ракотийскому кварталу и темным припортовым улочкам.

– Я его поднял на улице и положил в своей комнате. Мне показалось, что у него раны на голове и груди. Наше тело, должно быть, содержит много крови, ибо три ступеньки моего крыльца были совершенно красные.

Кирилл, уйдя в свои мысли, возбуждал сам себя:

– Церковь погибнет, если она не будет защищаться тем же оружием, каким ее бьют. Ни Константин, ни Феодосий не осмелились пойти до конца, и вот почему мы оказались в таком положении. Терпимость становится преступлением, если она порождает преступления. Язычники и евреи готовы были бы вновь распять Христа, если бы они могли это сделать. У нас нет ни императора, ни папы. Есть только сила верующих. Каждый должен действовать по мере сил своих. Бог доверил мне людей смелых и страстных, воодушевлению которых я сам же способствовал. Неужели же я не воспользуюсь ими, чтобы защитить Господа Бога?

Он ударил по плечу Петра, который почтительно поддакивал ему.

– Время настало, – продолжал епископ, как бы охваченный внезапной мыслью. – Вот уже триста семьдесят лет, как все христиане были изгнаны из Александрии. Куда направились они тогда? В Ливийские пустыни, в Фиваиду. Вот чего требует справедливость! Подъявший меч от меча и погибнет! Если евреи убивают наших, мы вышлем их в те места, куда некогда были изгнаны христиане. Они найдут почерневшие камни, где когда-то наши мученики разводили свой огонь, и будут пить из тех же колодцев, если гнев небесный их не иссушил.

Вдруг воображение Кирилла как бы заглохло. Он представил себе еврейский квартал после насильственного изгнания его обитателей. Этот квартал не был велик, хотя и имел население в сорок тысяч человек по причине необычайной способности еврейского народа к скученной жизни. Но он содержал несметные богатства. Кирилл знал старинные предания, которые гласили, что, когда два с половиной века тому назад император Адриан сжег Иерусалим, могущественные фамилии Гамалиилов и Гилелей разделили между собой сокровища храма, дворца Ирода и крепости Антония. Гамалииловы отправились к берегам Евфрата, но Гилелеи, которые были многочисленнее и владели большей частью сокровищ, прибыли в Александрию, обосновались возле восточного некрополя и положили начало еврейскому кварталу.

Кирилл знал также легенду, которая переходила из уст в уста среди портовых матросов и бедняков предместья.

Лет сто тому назад один карфагенский моряк, напившись, пошел гулять после захода солнца по Александрии. Сам не зная как, он достиг Дельтского квартала и теперь бродил наудачу среди маленьких перекрещивающихся улиц. По рассказам стариков, эти улицы были так узки, что иногда, вытянув руки, можно было коснуться обеих противоположных стен, и это позволяло моряку удерживать равновесие, когда он шатался. Он наткнулся на раскрытую дверь дома, которого впоследствии так и не смог найти, и переступил через порог. Ему показалось, что он попал на праздник или, может быть, погребение, которое собрало в одной части дома господ и слуг вместе: ему почудилось, что он слышит бормотание голосов, подобное тому, что бывает, когда большое количество людей молится одновременно. Он спустился по лестнице, которая попала ему на пути, и остановился, созерцая неожиданное зрелище.

Три канделябра, поставленные треугольником, освещали квадратную комнату, которая показалась ему сплошь выложенной золотом. Он заметил в больших бронзовых кувшинах груды монет всевозможных стран. Меха из верблюжьей кожи были плотно набиты золотым песком, который, местами просыпавшись, усыпал землю, как простой песок. Там были слитки более темного золота, загораживающие отверстие галереи в глубине, где трепетали, теряясь из виду, золотые песчинки. Направо и налево были в беспорядке нагромождены предметы необыкновенного вида, подвешенные к потолку, прикрепленные к стенам, разбросанные по полу: это были рукоятки мечей, зеркала, диски, массивные шары, крупные ожерелья – они переливались желтым блеском рядом со статуями, исполненными в натуральную величину, с золотыми лицами, золотыми одеяниями и цоколями из того же металла. Посредине возвышалось нечто вроде алтаря, перед которым стоял сверкающий золотой подсвечник. И на алтаре, как на священной дарохранительнице, покоился ковчег, изношенный, стершийся от времени, украшенный голубыми сапфирами, с четырьмя большими золотыми кольцами по бокам: крышка его имела с обеих сторон по херувиму из массивного золота – они стояли друг против друга с распростертыми крыльями. Это был тяжелый, древний дивный ковчег из позеленевшего золота, золота тысячелетнего, так отполированного веками поклонений, пожаров и скитаний, что оно уже не блестело, но испускало таинственное сияние святости.

Пьяный матрос, внезапно отрезвев, подумал об опасности, которой он подвергнется, если будет схвачен в этом зале, перед этими баснословными сокровищами. Он потихоньку выбрался наверх и вышел на улицу.

Впоследствии он таинственно исчез. Этот конец придал веру его неправдоподобному рассказу. Полагали, что евреи убили человека, который мог найти место, где хранились их сокровища.

Кирилл вспомнил эту историю. Она подтверждалась другими фактами, которые он знал. Поэтому святыня Моисеева племени, святая святых, ради чего царь Соломон воздвиг из порфировых глыб, скрепленных свинцом, храм на холме Мориа – ковчег, содержащий закон, ковчег, потускневший от южного солнца в изгнании, облитый волнами Красного моря, мог находиться в его руках, в подземельях Александрии.

Он вздрогнул от реальности этой мечты. Ирод-старший присоединил к богатствам династии Асмонеев чудовищные богатства Аравии, завещанные его отцом Гирканом.

Кирилл мог проследить судьбу еврейских сокровищ в продолжение осады и разрушения Иерусалима в эпоху Тита, до момента, когда Адриан сжег храм в последний раз. Ничего невероятного не было в том, что карфагенский матрос проник вечером в дом Гилелей, где втайне покоилось среди богатств Ирода святое святых царя Соломона.

И это золото могло принадлежать ему! Он не испытывал никаких угрызений совести, желая его так страстно. Он употребил бы большую часть этого золота на защиту церкви, поддержку монастырей и сооружение соборов. Ведь, в конце концов, он составлял с церковью

одно целое. Будучи патриархом Александрии, он имел право взять золото, чтобы заботиться о своих единоверцах и строить им убежища. Золото было необходимо религии. Оно должно пойти на отливку потиров и дароносиц. Таинственное вино причастия нуждалось в чаше из чистого божественного металла. Подобно Коринфской и Библосской Афродите, изображения Девы Марии должны были состоять из цельной золотой глыбы.

Его видение было так реально, что, подобно карфагенскому матросу, он был почти ослеплен им. Он шатался как пьяный в золотистом тумане. Он испытывал такое ощущение, словно погрузился до лодыжек в рассыпанный золотой песок.

– Осторожно, – сказал Петр, – здесь кровь.

Они пришли.

Кирилл, наклонившись, увидел, что его сандалии запачкались.

– Он лежит за дверью, – прибавил Петр с некоторым смущением, сторонясь, чтобы пропустить Кирилла.

Но тотчас же у него вырвался крик изумления: труп не было на том месте, где он его оставил.

Комната Петра была очень обширна и освещалась единственной свечой; ее пламя трепетало от ветра, который ворвался через оставленную открытой дверь. Комната была грязна, в ней царил беспорядок. Паутина затянула углы потолка и спускалась с железного фонаря, подвешенного к крюку. Грязная тряпка лежала на виду на столе. На середину комнаты был вытащен раскрытый деревянный сундук с грязным бельем и лохмотьями. Тысячи насекомых ползали по черному каменному полу среди объедков, которые не выметались. А в глубине находилась вавилонская кровать, громадная, пышная, вся покрытая позолотой, под пологом из ярко-малинового дамасского бархата, на четырех колоннах, покрытых скульптурой; оттуда спускались звериные шкуры, дорогие, но рваные меха и шелковые подушки, почерневшие от копоти.

Кирилл не успел удивиться контрасту между грязью комнаты и пышностью ложа, столь не подходящего для духовной особы. Прямо против себя он увидел прислонившуюся к стене, посиневшую человеческую фигуру, бледную пародию на того, кто был Гиеросом, преподавателем теологии; это был бескровный призрак с лицом, напоминающим просфору, с прозрачными глазами и руками, сквозь которые просвечивали кости.

Он в ужасе попятился к двери. Но человек, лишенный крови, разбитый последним усилием, осел под тяжестью собственного тела, дрожа губами, бледнее воска.

Тогда Кирилл понял, что это был сам Гиерос и что он превратился в бескровный призрак лишь для того, чтобы вся его пролитая кровь преобразилась в золото для вящей славы Христа.

Он подошел к нему, стремясь обрести уверенность в подозрении, и стал на колени возле умирающего.

Петр последовал его примеру и приподнял качающуюся от слабости голову Гиероса.

– Это евреи? Тебя убили евреи? Говори!..

Голова, еще теплившаяся жизнью, качнула справа налево в знак отрицания.

– Я – епископ Кирилл. Я дам тебе отпущение грехов. Скажи мне, кто тебя поразил?

Восковой рот задрожал и произнес несколько слабых звуков. Еле внятная вибрация слогов достигла слуха обоих мужчин. Это было как бы дуновение, но в этом дуновении они уловили слова, подобие фразы.

– Нет! Не евреи! Христиане! Никанор из Эфеса, его любовница Олимпия... На Высокой улице... Это они меня убили!.. –

И голова заколебалась снова, прежде чем стать совершенно неподвижной. Кирилл машинально бормотал отходную, когда раскрылась дверь и на пороге появился человек.

Он был высокий, полный, с птичьей головкой, не соответствующей всей его фигуре. Он подошел, с недоуменным и скучающим видом, по очереди окинув взглядом стоящего Петра,

коленопреклоненного епископа, мерзкую комнату и пышную кровать. Это был префект Орест, которого Кирилл приказал спешно вызвать. Он нервно потирал свои выхоленные и униженные перстнями руки. На улице слышался звон оружия.

– Ну, – сказал он, – Гиероса убили. Я всегда думал, что это случится. Прокуратор Ракотийского квартала предупреждал меня несколько дней тому назад об опасности, грозящей человеку с его репутацией...

Он не закончил. Кирилл внезапно выпрямился. Его решение было принято. Да разве величие церкви, слава Христа не оправдывали какую угодно ложь?

Он поднял руку театральным жестом.

– Его убили евреи. Он сказал мне это, умирая. Кроме того, Петр видел их. Если императорское правосудие бессильно защитить нас, мы вооружимся и защитимся сами.

Префект сделал усталый жест. Уже давно организованные Кириллом христиане составляли отряды фанатиков, более многочисленные и дисциплинированные, чем его собственные солдаты.

Он наклонил голову, заранее утомленный всей предстоящей ему скукой, тяжестью решения и несправедливостью, в которой ему придется принять участие. Он меланхолично закутался в свою тогу и осторожно, чуть не почтительно раздавил носком своих котурн с серебряными шнурами паука, подползавшего к лицу мертвеца...

В узкой камерке, в которой обычно спал Амораим, позади лавки, он рассматривал свое платье, разложенное на убогой кровати. Его единственное черное суконное платье, почти новое, с широким поясом, было запачкано нечистой христианской кровью. Тщательно обследовав пятно, он все свернул в узел, чтобы сжечь на следующий день.

Конечно, он не гнался за изяществом, но когда человек стар и одинок, он имеет мало радостей. Приличное, хорошо сидящее платье, гибкий широкий пояс, удерживающий тепло, доставляли маленькие ежедневные удовольствия, которых он отныне будет лишен. Он подумал, что теперь у него нет ничего, кроме нескольких жалких лохмотьев, чтобы прикрыть свое тело.

Но неважно! Он принимал без горечи это новое унижение. Он избег большой опасности, совершив то, что казалось ему справедливым. Старый Амораим будет похож на нищего, но он облачен в прекрасное одеяние исполненного долга. Кроме того – разве нельзя усмотреть в том, что только что произошло, знак маленького благоволения? Может быть, Господь становится немного милостивее к старому набожному человеку?

И он перед тем, как уснуть, несколько раз повторил:

– Ты всегда грешил гордыней. Смирись, Амораим!

Глава V

Три философа

Аврелий выронил из рук книгу, которую перечитывал в пятый раз, – житие Аполлония Тианского, составленное его учеником Дамисом. Он перешел во внутренний дворик своего маленького квадратного дома и очутился среди зарослей белых роз, которые цвели в его саду и вились вокруг колонн террасы.

Его лицо, всегда печальное, теперь светилось. Он выпрямился во весь свой высокий рост, и седеющие виски его густых волос казались двумя белыми пятнами, словно то были две розы, срезанные с одного из этих кустов.

Только раз в день он прерывал свои ученые занятия или выходил из скучной дремоты. Это было, когда его рабыня Тута возвращалась из Александрии, куда она ходила на рынок. Ибо он жил у Канопийских ворот, за городской стеной, рядом с сикоморовым леском, который простирался вдоль Мареотийского озера.

Каждый раз он взглядом вопрошал Туту, и она, вынимая из своей ивовой корзины овощи, масло или плоды, отвечала ему приблизительно одно и то же:

– Я ее встретила недалеко от храма. Мне пришлось долго ждать, потому что она поздно вышла. Она была сегодня со своим отцом.

И почти всегда прибавляла:

– Присцилла, несомненно, самая прекрасная девушка в Александрии.

Это было все. Взгляд Аврелия терял свой блеск, интерес к жизни исчезал, он возвращался в свою библиотеку и садился среди свитков в деревянных футлярах, папирусов, написанных на всевозможных языках, и дощечек, наполовину стершихся и почти неразборчивых.

Эти книги были его утешением. Семь лет назад он пережил большое и тайное горе, о котором ни с кем не говорил. Печаль, не выражающаяся вслух, производит опустошение в глубине. Какая-то внутренняя пружина остановилась в душе Аврелия и убила его волю. У него не хватало смелости выходить за пределы своего сада, и он прекратил всякие сношения с окружающим миром. Его друзья думали, что он отправился путешествовать. Он погрузился в полное одиночество. Он отпустил своих слуг, за исключением Туты, молодой рабыни-армянки, которая закупала платья и пищу, платила налоги и была единственным звеном, соединяющим его с внешним миром.

Он отдался философии с пылом любовника, принимающего к телу своей возлюбленной. Книги, которыми он владел, были неоценимы. Два человека, с которыми он еще продолжал встречаться, Соклес и Олимпиос, старые друзья его отца, доставили ему часть драгоценной библиотеки Серапеума. Эти два старца, которые некогда преподавали в Музее науки и философию, регулярно приходили, раз в неделю, посидеть среди белых роз Аврелиева сада и поспорить о мудрых вещах в тот час, когда заходящее солнце заливают пламенем воды Мареотийского озера.

Двадцать шесть лет назад оба они участвовали в революции, происшедшей в Александрии. Император Феодосий издал тогда приказ о разрушении языческих храмов, и епископ Феофил, предшественник Кирилла, выполнял это указание с фанатичным ожесточением. Олимпиос и Соклес возвели укрепления вокруг старинного храма Сераписа, оплота язычества, пытаясь бороться с яростью христиан. Они хотели спасти духовные богатства храма – громадную библиотеку, ибо Серапеум содержал шестьсот тысяч свитков, подаренных некогда Антонием царице Клеопатре: они были собраны Эвменом, образованным царем Пергама, в Греции, Сирии, Персии и многих других странах мира.

В одной золотой трубке хранился папирус, исписанный рукой Пифагора, с пометками Аммония Сакка и Плотина; ученые разворачивали его с благоговейным трепетом. Там хранились неизвестные произведения еврея Филона и несколько рукописей легендарного Досифея, который слыл учителем легендарного Симонамага. Там были произведения, начертанные на тонких камнях работы друидов Бретани. Там можно было найти пергаменты, пропитанные маслом такого высокого качества, что они хранили линии руки халдейского мага, который коснулся их тысячу лет назад. Другие, вывезенные из Индии, представляли собой бесчисленный ряд медных пластинок. Ящик из зеленчака хранил несколько страниц из Книги перемен китайца Фо-Хи. Там можно было увидеть письма на зендском и деванагарском языках, клинопись и иероглифы. Там были папирусы, составленные из примитивных триграмм, а также написанные на языке, на котором не говорил ни один народ. Маленькая красноватая дощечка, по преданию, происходила из исчезнувшей Атлантиды.

В ночь, предшествовавшую решительному штурму Серапеума, Олимпиос и Соклес, предвидя гибель библиотеки, захватили большое количество наиболее ценных книг и спрятали их в Александрии. А утром они были свидетелями пожара, во время которого сгорела оставшаяся часть библиотеки.

Они скрылись, чтобы избежать расправы, и не появлялись до самой смерти Феодосия, когда наступил покой. Тогда Соклес вернулся к себе. Но Олимпиос, проведя год в хижине собирателя трав, среди болот, окружающих солончаки Шедии, нашел, что эта уединенная жизнь была лучшей, какая только может быть для искателя истины. Прошли годы. Распространились слухи о его смерти, которых он не стал опровергать. Подобно анахоретам Фиваиды, он спал на жесткой земле, укрываясь под тростниковой крышей, скудно питаясь овощами или плодами. Каждую неделю он проходил пятьдесят стадий, которые отделяли его от дома Аврелия, где встречался с Соклесом. Эти три человека, одинаково влюбленные в философию и одиночество, проводили всю ночь за рассуждениями о бессмертии души, могуществе экстаза и таинствах перевоплощения.

С каким пылом они искали тогда истину и пытались уяснить ее себе! Какие прекрасные часы переживали эти мудрецы, почти одинаково далекие от всего земного! Сидя под мраморными портиками, они вдыхали ночную свежесть озера, которая была не так сладка им после знойного дня, как духовный ветер, рождавшийся от их речей.

С большим пальмовым листом в руке Тута иногда развлекалась тем, что отгоняла от них moskitov, и они улыбались друг другу, глядя на ее молодость и красоту, как будто она была живым символом невидимого света, который они искали.

Когда звезда Сотис начинала бледнеть и синева озера становилась пепельного цвета, Тута засыпала, положив голову на руки, на мозаичных плитах террасы. Три философа прохаживались под сикоморами, трепетавшими над их головами, подобно серебряному ореолу их волос. Их спор никогда не кончался, и они обещали себе к следующей встрече найти неопровержимое доказательство вечной истины. Между ними родилось соревнование. Каждый претендовал на познание источника более чистого, чем у других. Именно это соревнование побудило недавно Соклеса предпринять таинственное путешествие на юг, откуда он надеялся вывезти существенный материал для своих изысканий. Он не пускался в объяснения заранее, но уверил своих друзей, что по возвращении, которое произойдет ровно через три месяца, он их заставит сделать решительный шаг к намеченной цели.

Наконец Соклес, после усердных просьб, добился от Аврелия обещания приехать вместе с Олимпиосом в Саис, куда он рассчитывал прибыть в первый день месяца Шойак. В согласии с Олимпиосом он использовал желание Аврелия увидеться с ним, чтобы победить странную потерю воли, лишавшую его возможности выйти из своего дома. В конце концов Аврелий сдался, и Тута, которая также должна была принять участие в путешествии, позаботилась о том, чтобы он не переменил своего решения.

Открыв садовую калитку накануне назначенного дня, Тута увидела своего хозяина, который по своей привычке ждал ее на террасе. Она с удовлетворением отметила, что взгляд его был увереннее и стан прямее, чем обычно.

– Ну? – сказал он.

– Я видела Присциллу и даже прошла за ней в церковь Теонаса, – ответила Тута. – Ее сопровождал чернокожий человек, необыкновенно уродливый. Она преклонила колени и почти коснулась лбом каменного пола.

Безмолвное движение Аврелия выразило грусть. Чтобы отвлечь его мысли, Тута поспешила рассказать новости, которые она услышала на рынке.

Небольшими группами более шестисот монахов с горы Нитра вступили в Александрию через Канопийские ворота. У них был дикий вид, а под своими плащами они скрывали оружие. Говорили, что они пришли отомстить за смерть христианина Гиероса, убитого фанатиками-евреями. Также говорили, что епископ Кирилл произнес в церквях вдохновенные речи, в которых объявил, что скоро в городе не останется ни одного еврея. Он воспользовался этим случаем, чтобы заодно бросить проклятия Ипатии и всем философам Музея.

Но Аврелий рассеянно слушал эти новости.

– Тута, – сказал он. – Я принял важное решение. Я хочу отправиться в Индию, как Аполлоний Тианский, и добраться до обители мудрецов, где он познал истину...

Тута и три философа, растянувшись в большой, плоской четырехвесельной лодке, под тентом из оранжевого виссона, плыли по одному из рукавов Нила в сторону Каноп и моря. Они оставили справа громадную массу красного гранита, служившую крепостной стеной Саиса, гробницы Априеса и саитских царей, надгробный памятник Амазиса. Луна освещала илистые воды, и лодка скользила по реке цвета охры.

Соклес не хотел рассказывать своим друзьям о результатах своего путешествия, прежде чем они не завернутся поудобнее в свои шерстяные плащи и последние отзвуки песен портовых грузчиков не замрут вдали.

– Я подготовился к признанию своих ошибок, – улыбнулся Олимпиос.

Наконец Соклес заговорил:

– Не спрашивали ли вы себя когда-нибудь, почему после завоевания Египта Александр Великий углубился в пустыню, чтобы ценой тысячи опасностей достичь храма Аммона?

Он остановился, чтобы насладиться изумлением своих спутников.

– Все историки говорят об этом, – сказал Аврелий. – Он хотел спросить оракула, принять ли от египетских жрецов титул сына божьего, который носили до него все фараоны. Но не для того же, чтобы задать этот вопрос, ты пригласил нас на торжественное свидание после трехмесячного отсутствия?

Соклес пожал плечами и продолжал:

– Не следует забывать, что армия Камбиза погибла в песках, попытавшись проделать ту же экспедицию. Разве не знал Александр почти в точности, благодаря своему наставнику Лизимаху, одному из величайших магов древности, что жизнь его будет непродолжительна, и разве терял он когда-нибудь время и усилия попусту? Он был посвящен в таинство, его войска занимали Каноп, где он находился, и жрецы Сераписа могли его там провозгласить сыном Юпитера с таким же правом, как и жрецы Аммона. Зачем же он в таком случае пустился в путь? Что он искал, отправляясь в такую даль?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.